

Станюкович Константин Михайлович

Маленькие моряки

Станюкович К.М.

Маленькие моряки

I

- Ты чем думаешь быть, а?

Такой вопрос задал мне тихим, слегка гнусавым голосом высокий, худой, болезненный на вид старик с коротко остриженной седой головой, с темными пронизательными глазами, от взгляда которых веяло холодом, в адмиральском сюртуке с золотыми генерал-адъютантскими аксельбантами через плечо - когда однажды после парадного обеда с музыкой, недели за две до высадки в Крым союзной армии, отец подвел меня, десятилетнего мальчугана, к почетнейшему из своих гостей - главнокомандующему войсками и любимцу императора Николая, князю Меншикову.

Он сидел, прихлебывая кофе, по-видимому, хмурый и скучающий, в числе других гостей, на широком балконе, выходившем в сад, обширного каменного дома командира порта и военного губернатора оживленного и веселого Севастополя.

С этими словами этот неприветливый и, как мне казалось, важный и надменный старик, которого все присутствующие как будто боялись, скривил свои губы в подобие улыбки и, к удовольствию матери, потрепал меня по щеке своей сухой, костлявой рукой.

- Инженером, - почему-то вдруг ответил я.

- Инженером? Печи класть, казармы чинить и... и воровать казенные деньги? - промолвил насмешливо князь, взглядывая на меня своими умными холодными глазами. - Не советую, мой милый. Не иди в инженеры! - прибавил, морщась, старик.

Я, совершенно сконфуженный, молчал, решительно не понимая, зачем мне печи класть и воровать казенные деньги. Я знал, что это нехорошо. Отец всегда выражал негодование против тех, кто грабит казну, и я помнил одного безногого генерала, бывавшего у нас в доме, который вдруг куда-то исчез. Говорили, что он был разжалован в солдаты за то, что обкрадывал арестантов.

В эту минуту самым горячим моим желанием было удрать в сад от этого неприятного старика, который наводил на меня страх.

- Вы разве хотите, любезный адмирал, сделать этого молодца Клейнмихелем? спросил князь отца все тем же своим ироническим тоном.

Среди присутствующих раздался сдержанный смех.

- И не думал, ваша светлость, - почтительно отвечал отец. - Я отдам его в пажецкий корпус.

- Все же лучше, - опять поморщился князь и заговорил с матерью.

Я исчез с балкона и долго ломал голову: какая это служба "быть Клейнмихелем", над которой все смеялись, и решил не быть "Клейнмихелем".

Мне довелось еще раз увидеть этого насмешливого старика, которого потом вся Россия бранила за первые наши поражения в Крыму и за ту беспечную неприготовленность, которая обнаружилась во всей своей позорной наготе с первых же дней войны. Встреча эта была в тот самый день, когда отцу принесли с семафорного телеграфа известие, что неприятельский флот в количестве ста вымпелов бросил якорь у Евпатории, и что на нем десант.

Я живо припоминаю взволнованное, полное изумления лицо отца, когда он читал депешу и затем объявил эту новость матери. Высадке, как кажется, не хотели прежде верить. Я помню, как у нас в доме многие весело говорили, что неприятель не посмеет сунуться. Накануне великой драмы никто, казалось, не провидел севастопольских развалин, и везде с восторгом читали модное тогда патриотическое стихотворение:

Вот в воинственном азарте

Воевода Пальмерстон

Поражает Русь на карте

Указательным перстом.

В тот день после обеда я ходил с гувернанткой гулять на Графскую пристань. Мы присели на скамейку, любуясь красивыми кораблями, стоящими на рейде. У пристани кого-то дождался щегольской катер. Знакомый молодой моряк, подошедший к гувернантке, объяснил, что ждут главнокомандующего, который переедет через бухту на Северную сторону, чтобы оттуда ехать на позиции к войскам.

Действительно, скоро мы увидели у колоннады Графской пристани старого князя. Он о чем-то говорил с каким-то генералом и стал тихо спускаться по ступенькам пристани в сопровождении двух адъютантов и полковника Вунша, который в своем лице соединял и должность начальника штаба, и должность интенданта и потом судился, как кажется, за злоупотребления. Старик был гораздо сумрачнее, чем тогда у нас на балконе. Его бледно-желтое лицо то и дело морщилось, и губы складывались в гримасу, точно он испытывал какую-то боль.

Я не спускал с него глаз, и мне почему-то вдруг стало жаль этого совсем не страшного для меня теперь старика. В моем детском умишке невольно возникало смутное подозрение, что, верно, что-нибудь не совсем ладно, если князь едет встречать неприятеля, которого, как я постоянно слышал, мы закидаем шапками и уничтожим, такой печальный и задумчивый вместо того, чтобы быть веселым и радостным.

Он проходил совсем близко от скамейки, на которой мы сидели. Я встал и поклонился.

Старик на минуту остановился и, ласково усмехнувшись, проговорил:

- Так в инженеры, а?

- Я не пойду в инженеры! - решительно ответил я.

Но князь, казалось, не обратил внимания на мои слова и тихо, совсем тихо сказал:

- Кланяйся отцу и скажи, чтобы он скорее отправлял вас отсюда...

И, потрепав меня по плечу, старик спустился к катеру.

Вернувшись домой, я застал у нас несколько человек гостей. Мне бросилась в глаза необычайная серьезность всех лиц. Разговоры насчет высадки неприятеля уже не отличались прежней самоуверенностью и не сопровождались веселым смехом. Говорили, что у нас мало войск, плохие ружья, и что город беззащитен.

Отец сидел в кабинете, занятый делами, когда я пришел к нему и передал слова князя. Он, видимо, смутился и приказал никому об этом не говорить. В этот же памятный день к отцу заходил адмирал Нахимов. Они о чем-то долго говорили, запершись в кабинете. Несмотря на предупреждение князя, отец не делал никаких распоряжений о выезде нашем из Севастополя, хотя многие семьи на другой же день стали выезжать. На вопрос матери: "не лучше ли уехать?" отец ответил: "Еще успеете".

Мои уроки с этого дня внезапно прекратились. К нам ежедневно ходил заниматься со мной И.Н.Дебу, петрашевец, отбывавший наказание в качестве солдата. Несмотря на суровое николаевское время, севастопольское начальство относилось к нему замечательно гуманно и снисходительно. Моряки, казалось, не умели быть жестокими преследователями и без того достаточно наказанного человека. Вне службы он ходил в статском платье, был принят во многих домах и давал уроки, между прочим, и мне, губернаторскому сыну. И никто не видел в этом ничего ужасного. Об И.Н.Дебу у меня сохранилась до сих пор благодарная память, как о замечательно добром, мягком учителе, прихода которого я ждал с нетерпением. Он как-то умел заставлять учиться, и уроки его были для меня положительно удовольствием. Довольно было сказать И.Н.Дебу одно лишь слово: "стыдно", чтобы заставить меня горько сокрушаться о неприготовленном уроке и просить его не сердиться. Я не только любил, но был, так сказать, влюблен в своего учителя. И вдруг он не пришел и больше уже не приходил! Мать сказала, что ему нельзя приходить теперь, он - солдат и, верно, ушел с полком. Впоследствии И.Н.Дебу, бывший в числе защитников Севастополя, произведенный в офицеры, вышел после войны в отставку.

Восьмого сентября, в день Альминского сражения, целый день до нас долетал отдаленный гул орудий. Отец был взволнован, хотя и старался скрыть свое волнение перед домашними. Он нервно и торопливо шагал по кабинету. В течение этого дня многие адмиралы приезжали к отцу за известиями. Но он ничего не знал об исходе битвы, и почтенные моряки уходили взволнованные и хмурые, казалось, предчувствующие печальные вести и беспокоящиеся о судьбе любимого Севастополя и славного черноморского флота. Накануне был и В.А.Корнилов - высокий, худощавый адмирал с необыкновенно умным и выразительным лицом, который через несколько дней, когда Севастополь был оставлен на произвол судьбы, явился организатором защиты и героем, ободрявшим маленький гарнизон, состоявший преимущественно из матросов, и вскоре был убит, уверенный, что Севастополь погибнет.

Наконец, в шестом часу вечера известия были получены и, видимо, печальные. Отец куда-то уехал. Мать со слезами говорила, что знакомому адъютанту оторвало руку, и что молодой, только-то приехавший из Петербурга офицер генерального штаба убит... Под вечер, у решетки сада, против балкона, остановился на минуту проезжавший верхом знакомый старый генерал в солдатской шинели, окликнутый матерью. На вопрос ее об исходе сражения, он по-французски отвечал, что мы должны были отступить, что такой-то генерал наделал глупостей, и что у него в нескольких местах прострелена шинель.

Проговорив все это, он раскланялся и поехал далее, понуро опустив голову.

За чаем тихо говорили друг другу, что мы разбиты, что войска в беспорядке бежали, что Меньшиков не мог остановить бежавших и с поля битвы послал своего адъютанта Грейга курьером к императору Николаю с одним словесным приказанием: доложить государю то, что он, Грейг, видел... Рассказывая об этом, все сожалели, что бедному Грейгу выпала печальная доля огорчить государя. И помню я, многие присутствующие главным образом печалились, что будет огорчен государь.\*

---

\* Об этой аудиенции Грейга у императора Николая рассказывали потом следующее:

Когда адъютант князя Меншикова явился, прямо с телеги, в кабинет государя и, смущенный и испуганный, пролепетал: "войска вашего величества бежали!!", то государь крикнул на него громовым голосом:

- Врешь, мерзавец!

И будто бы в гневе дернул его за сюртук. И только успокоившись, ободрил совсем перепуганного адъютанта и приказал продолжать доклад, проговоривши:

- Так Меншиков отступил... Рассказывай дальше. (Прим. автора.)

О том, что погибло много солдат в бою, никто не вспомнил. Один из гостей, молодой артиллерийский офицер, приехавший из Петербурга, позволил себе заметить, что теперь Севастополь беззащитен. Его легко взять, если неприятель будет по пятам преследовать армию. Отец резко сказал, что это "вздор", и этим замечанием прекратил разговор; но мне казалось, что он нарочно оборвал артиллериста, но что и сам разделяет это мнение.

На следующее утро, когда я, по обыкновению, пошел гулять с гувернанткой, мы увидели картину, которая до сих пор жива в моей памяти. На улицах то и дело мы видели солдат, - усталых, измученных, раненых, не знающих куда идти, где их части. Они были без ружей и шатались небольшими кучками. Многие протягивали руки за подаянием. "Со вчерашнего дня не ели, барчук!" Это все были солдаты разбитой армии, особенно много было таких солдат на базаре. Раненые, они лежали на земле, ютились у стен лавок и стонали... Торговки заботливо давали им есть. Целые беспорядочные кучи солдат стояли на площади перед Графской пристанью... На самой пристани валялись без призора раненые. Никому, казалось, не было до них дела, не было им никакой помощи.

К вечеру в Севастополе кипела работа. То и дело мимо нашего дома матросы возили на себе орудия с кораблей на бастионы. Несколько дней прошло в томительном ожидании. Меншиков с остатками своей разбитой армии не возвращался в Севастополь и делал свое фланговое движение, чтобы не быть отрезанным от сообщений с Россией, предоставив Севастополь самому себе. Корнилов геройски решил защищать город. Матросы и выпущенные арестанты работали день и ночь, возводя укрепления. Неприятельскую армию ждали с часу на час. Я отлично помню, как однажды утром, когда я пришел поздороваться с отцом, он сказал взволнованным голосом:

- В нашем доме сегодня может быть Сент-Арно.

И с этими словами отец, обыкновенно суровый, как-то особенно горячо поцеловал меня.

Но неприятель, не подозревавший, что северная сторона беззащитна, не приходил, и Севастополь был на некоторое время спасен. Войска союзников обходили город, направляясь к южной стороне, чтобы начать правильную осаду. С вышки бельведера в нашем саду я смотрел в подзорную трубу, как двигалась узенькая синяя лента французских войск по Инкерманской долине.

Все ожили. Наконец вернулся и Меншиков с армией.

Когда северная часть была свободна от неприятеля, отец приказал матери собираться к выезду. В конце сентября наша семья покинула Севастополь. Мы переехали в Симферополь и жили там, нетерпеливо ожидая вести о победе и об изгнании неприятеля и надеясь снова вернуться в Севастополь.

Намерение отца сделать из меня сухопутного воина не осуществилось.

Скоропостижная смерть в 1857 году старшего брата, моряка, командовавшего только что построенным паровым клипером, готовым к уходу в кругосветное плавание, изменила мою судьбу. Вместо того, чтобы поступить в пажеский корпус, куда я уже был переведен из первого, где, в ожидании вакансии в пажи, пробыл полтора года, - я поступил в морской корпус. Отец желал, чтоб и я, как дед и как он сам, был моряком, и чтобы фамилия наша не исчезла из списков флота после его смерти. Ему в это время уже было под семьдесят лет.

После двухмесячной подготовки из математики с одним штурманским офицером, рекомендованным корпусным начальством, инспектор классов, А.И.Зеленой, проэкзаменовал меня у себя на квартире и затем велел идти вместе с ним в классы.

Он сразу расположил к себе - этот невысокого роста, плотный, с большими баками человек лет пятидесяти, немного заикающийся, с скрипучим голосом и мягким, ласковым взглядом маленьких и умных темных глаз, блестящих из-под густых взъерошенных бровей, придававших его лицу обманчивый вид суровости. Мне еще придется в своих воспоминаниях говорить об А.И.Зеленом, любимом и уважаемом несколькими поколениями кадет, а пока только замечу, что меня, несколько оробевшего тринадцатилетнего мальчугана, привыкшего к резкости начальства первого корпуса, необыкновенно приятно тогда поразила ласковая простота инспектора, без всякой примеси казармы и внешнего авторитета грозной власти. Этот авторитет как-то сам собою чувствовался и признавался и без юпитерских взглядов, и без суровых окриков, заставляющих трепетать мальчиков. Александр Ильич был добр и гуманен и не видел в отроках, хотя бы и испорченных, неисправимых преступников, как часто видят даже и современные педагоги. Он понимал детскую натуру и умел прощать, не боясь этим поколебать свой авторитет, и на совести этого доброго честного человека не было ни одного загубленного существа.

Мы вошли с ним в длинный коридор, по бокам которого были классы. Посередине коридор разделялся большим круглым пространством, освещенным сверху, называвшимся почему-то "пикетом" (вероятно, оттого, что там находился дежурный офицер), где, во время перемен, обыкновенно собирались преподаватели. Проходя "пикет", инспектор заметил маленького кадетика, стоявшего на пикете, очевидно, за какую-нибудь вину.

- Ты за что, Орехов? - спросил инспектор, подходя к маленькому белобрысому мальчику с бойкими глазами, который, при виде инспектора, тотчас же сделал постную физиономию невинной жертвы.

- Меня учитель выгнал из класса, Александр Ильич, - жалобно пискнул белобрысый кадетик, бросая на меня быстрый любопытный взгляд.

Инспектор нахмурил брови и казался сердитым.

- Вижу, что выгнал, а ты скажи-ка мне, братец, за что? - говорил он добродушно-ворчливым тоном, далеко не соответствовавшим напущенному им на себя строгому виду.

- Право, ни за что, Александр Ильич.

- Так-таки и ни за что!? А ты припомни: может, и напроказил, а?

- Я нечаянно толкнул товарища, Александр Ильич.

- Нечаянно!? - усмехнулся Александр Ильич, прищуривая глаза на кадетика. Ишь ты, какой неосторожный... Нечаянно! Ну, и тебя наказали нечаянно... Постой здесь, вперед будешь

осторожнее... Да нечего-то жалобную рожу строить. Эка беда - постоять! - прибавил с добродушным смехом Александр Ильич и пошел дальше.

Через минуту мы вошли в первое отделение (или, как у нас звали, в первый номер) старшего кадетского класса\*. При появлении инспектора человек тридцать в куртках с белыми погонами встали и в ответ на приветствие инспектора весело отвечали: "здравствуйте, Александр Ильич!" Поднялся сидевший за кафедрой и "француз", т.е. учитель французского языка, - плотный, высокий старик с эспаньолкой, усами и горбатым носом, - видимо не особенно довольный приходом инспектора. Инспектор приказал садиться и, показалось мне, что-то слишком пристально поглядел на очень красное лицо "француза". Затем он приказал мне сесть на заднюю скамейку, где было посвободнее, потрепал по плечу, выразив надежду, что я буду хорошо вести себя и хорошо учиться, и вышел, оставив меня одного под перекрестными любопытными взглядами незнакомых товарищей.

---

\* Всех классов было семь: приготовительный или "точка", три кадетских и три гардемаринских, младшие, средние и старшие. (Прим. автора.)

Едва вышел инспектор, как в классе поднялся шум. Все кричали "новичок, новичок!", не обращая ни малейшего внимания на учителя, то и дело кричавшего: "Silence, messieurs, silence!"\* Наконец в классе наступила относительная тишина, и урок продолжался. У кафедры стоял высокий, здоровый малый лет семнадцати, "старикашка", как звали остававшихся в классе на второй год и пользовавшихся своей силой кадет, и переводил из хрестоматии с французского. Перевод этот так не соответствовал тексту и полон был такой импровизации, быстро поднявшей температуру веселости класса, что "француз", хотя и не был силен в русском языке, все же догадался, что стоявший у кафедры верзила издевается над своим учителем самым наглым образом. И он сказал довольно добродушно:

---

\* Тише, господа, тише (франц.).

- Вы не знайт!

- Нет, знаю, - уверенно ответил импровизатор.

- На мест.

Но вместо того, чтобы идти на место, верзила с самым невинным видом, исключавшим, казалось, возможность подозревать какую-нибудь каверзу, подошел к несколько испуганному и тотчас же насторожившемуся старику-французу почти вплотную и начал было убедительно объяснять, что он урок знает и переводил хорошо, и что "Ляфоша" будет "свинья", если поставит ему менее восьмерки, как вдруг учитель, потянув носом, с гримасой отвращения бросился с кафедры к форточке и отворил ее, прошептав по-французски ругательство, при общем веселом гоготании класса, в то время, как верзила торжествующе возвращался на скамейку.

Спустя минуту-другую француз вернулся на кафедру и с торжественно-решительным видом произнес:

- Silence, messieurs!

Все затихли.

- Господа... Chers messieurs!\* Кто будет воняйт больше, тому баль меньше, а кто будет воняйт меньше, тому баль больше!.. Vous concevez!\*\*

---

\* Уважаемые господа! (франц.).

\*\* Вы понимаете! (франц.).

Признаюсь, я был донельзя изумлен такой оригинальной оценкой занятий французским языком, но никто из класса, казалось, не удивился, и в ответ на это предложение с разных сторон раздались голоса:

- Ладно, знаем!

- Небойсь, не любишь, французский барабанщик!

- Не сердись, Ляфоша... Больше не подведем. Форточку закрой.

Слегка выпивший учитель, кажется, уж не сердился и вызвал переводить другого, благообразно попросив его переводить с своего места.

Потом оказалось, что бедный француз, не выносивший скверного воздуха, почти каждый урок повторял свои условия для получения хороших баллов, но и эти весьма легкие, казалось бы, условия хороших успехов далеко не всегда исполнялись кадетами, находившими какое-то жестокое удовольствие травить этого несчастного француза с тонким обонянием. И он терпел всевозможные дерзости и унижения, не смея жаловаться, чтоб не лишиться своего тяжелого куска хлеба, если б начальство узнало "систему" его преподавания. А эти отроки-кадеты в своих преследованиях учителей, не умевших поставить себя, были изобретательны, злы и безжалостны, как хищные зверьки.

Надо, впрочем, сказать, что этот "француз" в мое время был едва ли не единственным "педагогом", совсем не заботившимся о наших занятиях и которого так жестоко травили кадеты. Вообще персонал учителей по словесные предметы не пользовался особенным уважением, и все эти предметы были в то время не в большом фаворе, но все-таки учителей строгих, не оставлявших безнаказанными шалости, побаивались. Через год этот "француз" был удален из корпуса после того, как однажды он явился в класс, едва держась на ногах, и вскоре заснул на кафедре, усыпанный мелко нарезанными кусочками бумаги, с склоненной седой головой, увенчанной десятком торчавших в волосах перьев и грамматикой Марго на темени. В таком виде его застал инспектор классов.

Вскоре потом я встретил этого бедняка зимой на улице, плохо одетого, пьяненького, приниженного... Он отвернул от меня взгляд, полный не то ненависти, не то укора. Хотя я лично никогда не травил его, но во мне он увидел одного из тех "врагов", которые довели его до бедственного положения, и этого было довольно.

Кто был он, как попал в преподаватели - никто из нас хорошо не знал. Говорили, что он был французским барабанщиком (что не лишено было правдоподобия), затем был гувернером у какого-то генерала, который за него просил директора корпуса, и таким образом он попал в учителя по вольному найму и пробыл в корпусе учителем лет пять... Добросердечный А.И.Зеленой, верно, догадывался о слабости преподавателя, но едва ли знал, что с ним проделывали кадеты и как он преподавал. А может быть, кое-что и знал, но не обращал особенного внимания, тем более, что такому предмету, как французский язык, и само начальство того времени не придавало никакого значения, и он, собственно говоря, преподавался для проформы всеми нашими "французами". Таким образом, одна лишь случайность - внезапное появление инспектора в момент сна пьяного учителя - была, надо думать, единственной причиной его удаления.

Пока "француз" слушал перевод более деликатного кадета, мои ближайшие соседи не

оставляли меня своим вниманием. Меня тихо спрашивали: как моя фамилия, откуда родом, кто меня экзаменовал и т.п. Я отвечал на вопросы, спрашивая, в свою очередь, фамилии новых товарищей, как вдруг, совершенно неожиданно, получил сзади такую затрещину, что у меня посыпались из глаз искры. Обернувшись, я увидел того самого верзилу, который заставил француза бежать к форточке.

- Это для первого знакомства, - проговорил он с наглой усмешкой, удаляясь на переднюю скамейку.

Учитель ни слова не сказал. Все кадеты с большим любопытством смотрели на меня. Никто не протестовал против нападения. Я вспыхнул от негодования и молчал, полный злости на обидчика, чувствуя очень хорошо, что от дальнейшего моего поведения зависит мое будущее положение среди кадет и отношение ко мне товарищей... И я решил план действий, выжидая конца класса.

Мой сосед, небольшого роста востроглазый мальчик, с участием посмотрел на меня и шепнул:

- Он старикашка и сильный... очень сильный... Он всех задирает и всегда новичков бьет, пока они не объявят своей покорности... Ты что думаешь делать... Покориться ему?..

- А вот увидишь, - отвечал я прерывающимся от злобы голосом...

- Неужели сфискалишь? Ты этого лучше не делай... - участливо заметил сосед. - Это нехорошо. И тебе еще хуже будет...

- Я не фискал, - произнес я...

- То-то! - весело проговорил мой сосед, видимо нравственно удовлетворенный.

Прозвонили перемену, и "француз" быстро вышел из класса, поставив всем отвечавшим хорошие баллы. Все шумно поднялись со скамеек, собираясь выходить из класса, а я, испытывая в одно и то же время и отвагу, и трусость, решительно направился к обидчику, стоявшему у доски. Тогда кадеты остались в классе, ожидая любопытного зрелища. В классе наступила торжественная тишина. Это еще более возбуждало мое самолюбие. "Старикашка", конечно, и не думал, чтобы я, небольшой, худенький мальчуган, осмелился напасть на него, признанного всеми силача, и когда я, не говоря ни слова, приблизился к нему и изо всей силы дал ему пощечину, - он, совершенно изумленный, не веря такой дерзости, в первый момент опешил. Эффект вышел поразительный.

- Ай да новичок, молодчага! - раздался чей-то негромкий одобрительный голос.

"Старикашка", высокий, здоровый, румяный кадет с пробивавшимися усами, успел уже оправиться и с презрительным высокомерием оглядывал меня.

- Стань кто-нибудь на часы... Я его проучу... Давай "хлестаться"!

И с этими словами он бросился на меня. Я не оставался в долгу, и мы с ожесточением хлестались, окруженные тесным кольцом любопытных зрителей этой драки.

Драка была отчаянная и прекратилась по настоянию присутствующих, которые, вероятно, нашли, что честь с обеих сторон вполне удовлетворена, и хотя я вышел из боя в довольно плачевном виде: с разорванной курткой, с громадным синяком и с болью в груди, тем не менее, на меня глядели не без почтительного уважения...

Эта драка была, так сказать, моим "крещением", определившим будущее положение в кадетской среде и сразу давшим мне права неприкосновенности. С этой минуты никто уж не



смел нападать на нового члена суровой кадетской вольницы, зная, что нападение не останется безответным.

Но горе было бы новичку, если б он на первых порах струсил и не дал бы отпора. Таким робким новичкам (особенно в младших ротах) грозила тяжкая доля быть в полном подчинении у "старикашек", откупаясь от их побоев безответной покорностью, а то и булками. Вообще всякая трусость и слабость жестоко карались, и "непротivление злу" приносило плачевные результаты. А вздумай новичок жаловаться - ему предстояла опасность быть избитым самым серьезным образом и приобрести презрительную кличку "фискал", на которого смотрели, как на парию.

"Старикашка", напавший на меня, представлял собою любопытный, уже вымиравший в то время, тип закоренелого "битка" - кадета пятидесятых годов, продукт николаевского времени. Семнадцатилетний здоровый юноша, он уже два года сидел в классе, пробыв, кажется, по два года в каждом классе, и, не выдержав на третий год экзамена, вышел из корпуса и поступил в армейские юнкера. Мало способный, довольно ограниченный, он с полным презрением относился к учению и был пропитан самыми крепостническими тенденциями, вынесенными еще из медвежьего угла помещичьей усадьбы. Он был хранителем старых кадетских традиций, старался говорить басом, напускал на себя грубость, по принципу считал своим долгом устраивать всякие каверзы начальству и говорил, что не желает учиться назло ему. И действительно не учился. Но зато был отличным фронтовиком, набивал себе мускулы, закаливал себя и был рыцарски честен и верен в слове. Наказания он выносил стоически и ложился под розги с видом человека, собирающегося купаться. Перекрестится - и на скамейку. Закусит руку - и ни звука, и после наказания смотрит гоголем, точно хочет сказать: "что, взяли?.."

После драки со мной он протянул мне руку и сказал:

- Молодец!..

И, заботливо оглядев мои синяки, прибавил:

- Подбели их!

При помощи опытных кадет синяки мои были подбелены мелом, куртка приведена в порядок, вихры приглажены. Когда после классов мы вернулись в роту, меня тотчас же одели в новую форму морского кадета, и затем я явился перед лицо ротного командира.

Это был пожилой штаб-офицер с седыми курчавыми волосами и бегающими несимпатичными глазами, бравый и подтянутый служака николаевской выправки. Далекo не строгий, а скорее даже "добрый" с кадетской точки зрения, он, однако, не пользовался ни любовью, ни уважением кадет. Его считали несправедливым, а главное, отчаянным взяточником.

Многие родители высылали ему из деревень всякую провизию. За взятки он ставил хорошие баллы, смотрел сквозь пальцы на дурное поведение и брал в свою роту унтер-офицеров. Он не гнушался ничем: брал деньгами, вещами и съестными припасами. Такими подачками кадеты откупались от порок и других наказаний.

И чуткая брезгливая молодежь, по преимуществу дети или родственники моряков, которые даже и во времена самого наглого казнокрадства в большинстве гнушались такой наживой, - слагала целые некрасивые легенды про ротного командира. При мне он, впрочем, был недолго. Новые веяния коснулись и корпуса. Этот ротный командир вышел в отставку и, как говорили, едва ли по своему желанию.

Окинув взглядом только что полученную от каптенармуса форму и найдя, что все хорошо, он

затем осведомился насчет моих синяков.

- Дрался с кем-нибудь?.. Кто тебя так изукрасил, а?

Я поспешил ответить, что упал на лестнице, когда шли из классов, и расшибся. И даже, для большей убедительности, вдался в некоторые фантастические подробности, заслужившие видимое восторженное удивление к моей изобретательности нескольких кадет, стоявших около.

Само собою разумеется, что ротный командир не поверил ни одному моему слову. Тем не менее он не только не допытывался далее насчет действительной причины моих синяков, но видимо отнесся с молчаливым одобрением бывшего моряка-кадета к моей нахальной лжи и только, весело и лукаво подмигнув мне глазом, проговорил:

- Вперед, смотри, так не падай и так не расшибайся!

Нечего и говорить, что товарищи находили, что я врал ротному блистательным манером.

III

Эта тщедушная фигурка бледного, худого, забитого и приниженного четырнадцати летнего белокурого мальчика с красивым лицом и покорным, почти страдальческим взглядом больших серых глаз, - которого почти каждый из товарищей считал своим долгом так, походя, толкнуть, ударить по лицу или презрительно обозвать каким-нибудь ругательством - невольно восстает передо мной при воспоминаниях о первых днях в корпусе. И этот мальчик, князь N, с которым никто не разговаривал, никто не обращался иначе, как с грубым словом, безмолвно переносил все эти пинки, удары и ругательства и только как-то беспомощно ежился и умоляющим взором просил о пощаде. Но пощады ему не было. Он был "парией", "отверженцем" среди этих веселых, жизнерадостных и жестоких кадет.

Когда я в первый же день поступления увидел, как без всякой, по-видимому, причины бьют этого несчастного и спросил: "за что?", мой сосед по классу, остроглазый кадет Иванов, ответил тоном глубочайшего презрения:

- Наушник!

И этим словом было все сказано и, казалось, все объяснено.

- Ты, смотри, с ним не говори... С ним позор говорить! - заметил Иванов. Его и начальство не терпит... Еще бы... Кто может терпеть Иуду предателя! прибавил Иванов.

Потом я узнал историю этого предательства.

Эта печальная история мальчика, избалованного маменькина сынка, вероятно, привыкшего дома видеть примеры наушничества прислуги, - рисует довольно характерно кадетские нравы того времени и отношение не только кадет, но и самого корпусного начальства к тому, что впоследствии многими педагогами поощрялось, как похвальная откровенность, и возводилось в принцип и многим из наших детей не казалось, как нам, старым кадетам, величайшим позором.

Изнеженный и избалованный, маленький князь N из-под крыла матери и из атмосферы угодливости крепостной челяди богатой помещицкой усадьбы прямо попал в несколько спартанскую обстановку рассаdnика будущих моряков, по преимуществу детей из бедных, захудалых дворянских семей. В этом рассаdnике крепко держалось кадетское "обычное право", существовали свой кодекс чести, своя этика, которые традиционно передавались от поколения к поколению в свято хранились кадетами до тех пор, пока не рухнула прежняя система воспитания. Понятно, что для маленького барчонка перемена обстановки была

резка. Эти насмешливые, задорные и недоброжелательные на первых порах взгляды целой шайки грубоватых, остриженных под гребенку, маленьких разбойников, которые сразу окрестили новичка кличкой "цынготного", что на кадетском жаргоне значило: слабый, трусливый, нездоровый, - эти равнодушно-серьезные лица дежурных офицеров и эти строгие начальственные окрики фельдфебеля и унтер-офицеров, подчас отчаянных тиранов, - не могли не смутить мальчика, да еще такого тепличного. Первая знатная встрепка - "встрепка испытания", - заданная ему, как новичку, несмотря на доброжелательный совет какого-то участливого товарища: "не фискалить", - заставила его искать защиты у начальства. Как прежде дома он жаловался на своих обидчиков матери, уверенный, что получит всегда удовлетворение, так и теперь он думал найти защиту у ротного командира и дежурных офицеров. Это было первым шагом дальнейших бед мальчика. За него, разумеется, заступились, но это заступничество было, так сказать, формальное. Начальство того времени не особенно поощряло жалобы кадет друг на друга, полагая, и, пожалуй, не без некоторого основания, что мальчишки сами лучше разберутся в своих ссорах.

Обидчика наказали. Новичок торжествовал, но ненадолго. В тот же вечер двое кадет, на которых выпал жребий проучить фискала, в видах его наставления на путь чести, "под фуркой" (т.е. закрыв лица платками) жесточайшим образом избили новичка, причем вновь преподали ему в кратких словах условия, необходимые для честного кадета... Но новичок в ужасе опять побежал жаловаться дежурному офицеру. Разумеется, виновных не нашли. На следующий день избитый мальчик пожаловался своему ротному командиру.

Этот ротный командир Z тоже был довольно оригинальный тип. Сам до мозга костей "старый кадет", рыцарь чести и справедливости, он нещадно порол своих питомцев, глубоко убежденный, что порка - отличное и единственное педагогическое средство. Он был грозой кадет, которые отлично знали, что раз попался - пощады нет: Иван Иванович выпорет. И только, чего можно было добиться от него, это некоторого уменьшения количества розог при обещании не очень кричать. И он на это сдавался.

Выслушав жалобу новичка с видимым неудовольствием, Иван Иванович по обыкновению закрутил свои длинные усы и, подрагивая ногой, стоял некоторое время в задумчивости, как быть. Наконец, вызвал пять человек из самых отчаянных и повел их за собой для порки. Он хорошо знал, что требовать выдачи виновных бесполезно, и потому "для примера" решил наказать кого-нибудь.

С тех пор новичок был прозван "фискалом". В общих играх он не принимал участия. С ним никто не дружил, Только трое кадет, падких до угощения, были близки с маленьким N, приносившим из-"за корпуса" по воскресеньям от тетки очень вкусные яства и лакомства. Но и эта близость видимо была корыстная, прекращавшаяся с понедельника, когда все запасы были истреблены, и возобновлявшаяся с пятницы и субботы. Жизнь нового кадета была не из приятных. Ему необходимо было заслужить прощение товарищей, но, вместо того, этот маменькин сынок, привыкший быть баловнем дома, а теперь обиженный, с уязвленным самолюбием, озлобленный против этих сердитых и злых товарищей, совершил, несколько месяцев спустя, поступок, едва ли понимая все его значение и не предвидя гибельных его последствий.

Он узнал, что против одного дежурного офицера, которого звали "Свирепой дылдой", готовится заговор. Решено было ночью, когда "дылда" заснет в дежурной комнате, стащить его кивер и саблю и запрятать их подальше куда-нибудь. Если обстоятельства позволят, вдобавок стащить и сапоги - для большего эффекта. Бог знает какие побуждения заставили N решиться сообщить о заговоре дежурному офицеру. Быть может, желание видеть наказанными своих врагов, быть может, страх самому быть наказанным в числе других, а может, и желание подслужиться, но только он, выждав, когда кадеты легли спать, пришел к дежурному офицеру и сообщил ему о заговоре, назвав имена заговорщиков, вполне уверенный, что никто не узнает об его поступке и что "Свирепая дылда" его поблагодарит.

Но нравы педагогов были в то время иные.

"Свирепая дылда" не только не поблагодарил мальчика за "похвальную откровенность", но с презрением оглянул его с головы до ног и грубо прогнал его вон, заметив, что только подлецы выдают товарищей.

Покушение не удалось в эту ночь. "Свирепая дылда" отдал на хранение кивер и саблю дневальному, а когда сделана была попытка снять сапог, он так заворчал во сне, что кадет обратился в бегство... Все недоумевали странной предусмотрительности офицера в эту ночь, но недоумение скоро разъяснилось. На следующее утро, когда рота стояла во фронте, готовая идти к чаю, дежурный офицер с негодованием объявил при всей роте о поступке князя N и прибавил, что не придает никакого значения его словам и, конечно, не будет преследовать оговоренных, пока они не попадутся... "А если попадутся, ну, тогда... я вам покажу!"

С этой минуты князь N стал "отверженцем". Ротный командир Иван Иванович, узнавши об этой истории, косо смотрел на N и часто на него покрикивал. Жизнь мальчика стала пыткой.

Прошел год. Уж он давно смирился и покорно, не смея жаловаться, сносил презрительные ругательства, толчки и побои, надеясь безответностью вымолить прощение. Напрасно! Клеймо наушника оставалось на нем, и ему не прощали. Напрасно он пробовал объяснять, что больше фискалить не будет, и молил о пощаде. Ему не верили. Его всегда подозревали.

Всю эту скорбную исповедь своих страданий рассказал мне однажды ночью этот несчастный, бледный, тщедушный мальчик, горько рыдая и прося меня о заступничестве перед товарищами... Наши кровати были рядом, и он видимо питал ко мне благодарное чувство за то, что я не притеснял его. Он спрашивал, что ему, наконец, делать, как избавиться от этого позорного положения отчужденности. Он уже несколько раз умолял в письмах мать взять его из ненавистного заведения, но отец не соглашался.

Мое ходатайство за него пред товарищами не имело большого успеха. И бог знает, чем бы кончил этот отчаявшийся, всеми презираемый мальчик, если б, наконец, не приехала мать и не взяла своего сына из корпуса.

#### IV

Накануне шестидесятых годов, когда начиналась кипучая деятельность обновления, морское ведомство, имея во главе великого князя Константина Николаевича, первое вступило на путь реформ, давая, так сказать, тон другим ведомствам, и "Морской Сборник" был в то время едва ли не единственным журналом, в котором допускалась сколько-нибудь свободная критика существовавших порядков, поднимались вопросы, касавшиеся не одного только флота, и печатались, между прочим, знаменитые статьи о воспитании Пирогова.

Несмотря на это, морской корпус продолжал еще жить по-старому, сохраняя прежние традиции николаевского времени. Большая часть воспитателей и преподавателей оставалась на своих местах, и патриархальная грубость нравов еще сохранялась.

Тем не менее новые веяния уже чувствовались. Нещадная порка, служившая едва ли не главным элементом воспитания будущих моряков, которые, по выходе в офицеры, в свою очередь, дрессировали матросов поркой и зуботычинами, прекратилась еще при мне в старших ротах, а в младших ротах практиковалась далеко не с прежней расточительностью и не иначе, как с разрешения директора, тогда как прежде телесные наказания составляли неотъемлемое право ротных командиров, пользовавшихся им довольно широко. Самые грубые из корпусных офицеров несколько понизили тон, и даже сам батальонный командир, заведовавший строевым обучением кадет, завзятый фронтовик, quasi-моряк, всю жизнь проведенный на сухом пути, крикун и ругатель, и тот на ученьях старался сдерживаться.

Это был свежий, крепкий и молодцеватый человек, несмотря на свои пятьдесят лет, с лицом, манерами и окриками заправского дореформенного фельдфебеля, готового перервать горло за скверную стойку. Всегда подтянутый, точно готовый во всякую минуту к смотру, с выпученной колесом грудью, с зачесанными вперед на виски рыжими прядками волос, позвякивавший шпорами, которые он носил в качестве батальонного командира, замиравший от восторга при однообразном и отрывистом щелканий ружей во время проделывания ружейных приемов или при красивом учебном шаге, бесновавшийся и называвший бабой и дрянью всякого кадета, слабого по фронту, и нередко заканчивавший ученье приказанием "перепороть" нескольких кадет, - и он, этот представитель шагистики у моряков и нелюбимый кадетами, случалось, вдруг на половине обрывал свою ругательную импровизацию, как-то отчаянно кричал и безнадежно взмахивал рукой, словно предчувствуя, что песня его близка к концу, и что вся эта муштра, вовсе и ненужная будущим морякам, отойдет в область воспоминаний, и сам он, ни на что более не нужный, удалится из корпуса на покой, чтобы скорбеть о прошлых временах.

Большую часть своей службы он провел в морском корпусе сперва корпусным офицером, потом ротным командиром и затем батальонным. Кажется, он даже что-то преподавал, этот фронтовик николаевского времени, перепоровший на своем веку несколько поколений кадет с бессердечием и жестокостью грубого и озверелого человека.

Достоин замечания, что подобные "моряки" вырабатывались исключительно в балтийском флоте, вблизи от Петербурга. В черноморском флоте таких не было. Несмотря на суровое время, в Черном море не обращали большого внимания на шагистику и "идеальное" равнение, и даже - о, ужас! - моряки там носили "лиселя", т.е. воротнички, несмотря на то, что тогдашняя форма запрещала такое "свободомыслие"... И сам Нахимов ходил с "лиселями", что, впрочем, не мешало ему быть превосходным адмиралом.

Выход в отставку батальонного командира был встречен общей радостью кадет. Его место занял барон де-Ридель, ротный командир, необыкновенно добрый человек, любимый воспитанниками. Близорукий, не особенно воинственный по осанке толстяк, с изрядным брюшком, он не особенно напирал на шагистику. И она, быть может, при нем и пала несколько, но зато учения уже более не сопровождалась фельдфебельскими окриками и ругательствами и не оканчивались наказаниями.

Как я уже упоминал, преподавание общеобразовательных наук и накануне шестидесятих годов стояло на очень низком уровне. Моряки выходили из заведения с весьма небольшим общим развитием и с самым малым знакомством не только с общей историей, но даже и с русской, о литературе и праве выносили и совсем смутные понятия, вернее даже - никаких, так что пополнять громадные пробелы своего образования приходилось, если тому помогали обстоятельства, уже самим молодым офицерам за стенами корпуса. Дальние плавания, знакомство с порядками чужих стран, разумеется, способствовали этому, расширяя умственный кругозор. Нечего и говорить, что просветительное движение шестидесятих годов много помогло тогдашнему поколению моряков, заставивши их встрепенуться, обратиться к книжке и гуманнее относиться к матросам.

Беззаботность насчет литературы и родного языка была в морском корпусе, поистине, поражающая, и известный анекдот об одном почтенном адмирале, который в начале пятидесятих годов любезно разрешил представившемуся ему Нестору Кукольнику давать представления в городе, приняв писателя за фокусника с куклами, - не представлял собою ничего исключительного. Я в шестидесятих годах знавал моряков, которые не знали Гоголя, Тургенева и Достоевского даже по именам.

Хотя в мое время кадетам и известны были имена Ломоносова, Державина, Крылова, Карамзина и Пушкина, но знакомство с названными писателями было, так сказать, шапочное и ограничиваюсь образцами в весьма умеренных дозах. Наш старый Василий Иванович,

учитель русского языка и словесности, бесценно в течение сорока лет преподававший в морском корпусе и заставивший несколько поколений моряков испытывать величайшие затруднения в орфографии, - после Пушкина, кажется, литературы не признавал, да и вообще был педагог-рутинер, который вел свое дело спустя рукава, отбывая лишь повинность для заработка. К Гоголю он относился неодобрительно, называл его карикатуристом и предостерегал в старших классах от чтения "Мертвых душ", утверждая, что оно только развращает молодого читателя и не дает пищи ни для ума, ни для сердца.

"Чтение должно возвышать и просветлять, а не низводить нас до низменных явлений жизни! - говорил обыкновенно учитель, когда кто-нибудь задавал вопрос о Гоголе. - Вот, например, какое чтение возвышает". - И начинал декламировать оду "Бог".

А когда однажды кто-то в нашем классе осведомился: хороши ли стихотворения Некрасова (тогда только что вышел томик его стихотворений), то на старчески румянном, морщинистом лице Василия Ивановича выразилось глубочайшее презрение, тонкие его губы вытянулись в пренебрежительную улыбку, и он со своей обычной усмешечкой заметил:

- Некрасов?.. Я что-то читал господина Некрасова. Читать не рекомендую-с. Пошлость дурного тона и неблагонамеренное направление. Они называют свои писания натуральной школой... Вот такая это школа...

И старик с иронической миной декламировал:

Возле леса речка,

Через речку мост.

На мосту овечка,

У овечки хвост!

- Нравится? - продолжал Василий Иванович. - В таком роде и пишут новейшие поэты и прозаики. Это - образец натуральной школы... Разве тут есть поэзия?.. Какое кому дело, что на мосту овечка, и кому неизвестно, что у овечки хвост, а?..

В классе раздался веселый гогот тридцати юных "саврасов", скорее, казалось, одобрявший, чем порицавший это четверостишие. Но Василий Иванович принимал этот гогот, как невольную дань его остроумию, и с важным видом победителя смотрел на класс, оправляя свои седенькие височки, и затем, в виде сентенции, обыкновенно прибавлял:

- Читать надо, господа, с большим разбором и только то, что разрешают наставники и родители... Лучше поменьше читать, чем читать вредные книги!

И при этом Василий Иванович бросал значительный взгляд на своего сына, который обыкновенно под этим взглядом в страхе опускал глаза.

После подобного назидания, с прибавлением подчас кратких предик о повиновении, Василий Иванович продолжал читать своим тихим, слащавым, слегка скрипучим, старческим голосом какой-нибудь отрывок из Карамзина, причем, в местах чувствительных или патриотически возвышенных его маленькие серые, зоркие глазки, далеко не отличавшиеся добродушием, слегка увлажнились слезой, которую он утирал грязным, испачканным нюхательным табаком, шелковым платком. А не то Василий Иванович объяснял или, вернее, повторял по учебнику, слово в слово, определение хорея или ямба.

Обыкновенно во время этих уроков в классе царил удручающая скука. Никто, исключая сына Василия Ивановича да двух-трех учеников "из первых", не слушал ни чтения, ни объяснений старика. На задних скамейках дремали или готовили уроки из других предметов, а так

называемые "битки" (последние по классу ученики), сидевшие на передних скамейках, немилосердно зевали, бессмысленно выпялив глаза на учителя, и радостно оживлялись, когда он прерывал на время свои объяснения, чтоб зарядить обе ноздри своего небольшого носа табаком.

- Пе-р-в-а-я, п-л-и! - шептал про себя оживившийся "биток" после того, как нос был заряжен, и если тотчас же после команды Василий Иванович чихал, "биток" был очень доволен.

По-видимому, и сам Василий Иванович весьма равнодушно относился к успехам своих учеников и не был особенно требователен к устным ответам и к сочинениям, заботясь, главным образом, лишь о том, чтобы в классе у него была благоговейная тишина, и ему самому оказывали почтительное уважение и никогда не возражали.

Подобным образом действий самые плохие ученики покупали себе удовлетворительные отметки.

И у Василия Ивановича в классе действительно вели себя смирно, да и к тому же побаивались этого медоточивого, благообразного и доброго на вид старичка. Все знали, что он далеко не добрый, что он злопамятен, очень ревнив в охранении собственного достоинства и к тому же никакой шалости не простит. В случае какой-нибудь кадетской "штуки", и особенно если Василию Ивановичу кто-нибудь ответит дерзко или насмешливо, - он ничего не скажет, только пристально взглянет на виноватого, плотнее сожмет свои тонкие губы и покачает своей седенькой остроконечной головой с видом сожаления. А затем, когда кончится урок, он побежит к инспектору и наговорит ему с три короба, и непременно раздует историю. И если бы не доброта и не такт А.И.Зеленого, который умел понимать кадетские шалости, жалобы этого медоточивого старика вызывали бы более суровые наказания, чем добродушно-ворчливые выговоры добряка-инспектора и в крайнем случае наказание не ходить в субботу "за корпус", т.е. в отпуск.

Нечего и прибавлять, что кадеты, чувствуя лицемерие Василия Ивановича, не доверяли его обманчивому доброжелательству, о котором он любил распространяться, и не терпели учителя. Вдобавок, ни для кого не было секретом, как этот благообразный и с виду добренький старичок был жесток с своим сыном. Он его зверски колотил и беспощадно сек у себя дома из-за всякого малейшего проступка. И бедный мальчик трепетал от одного взгляда своего отца и грустный уходил по субботам в отчий дом. Эта жестокость принесла свои плоды: мальчик вырос образцовым тихоней, скромным, прилежным, вечно зубрившим уроки благонравным кадетом, никогда не шалившим, но в то же время скрытным и озлобленным.

V

Этот высокий и худой старик Иван Захарович, фигурой и лицом напоминавший цаплю, длинноногий, с близорукими, рассеянными глазами и длинным красным носом, рисуется в моей памяти не иначе, как сидящим с высоко поднятой головой на кафедре и с некоторым торжественным пафосом восхваляющим Солона и Ликурга или Готфрида Бульонского. На средних веках, и то не окончивши их, мы, сколько помнится, расстались с учителем истории и более уже ее не слыхали в морском корпусе, сохранив и о Солоне, и о Ликурге добрую память, нераздельную с памятью об Иване Захаровиче. Достаточно вспомнить мудрого Солона, чтобы вспомнить немедленно и этого доброго человека, несмотря на то, что он не особенно заботился о наших исторических знаниях и не особенно сердился, когда мы безбожно путали хронологию. Этого добряка Ивана Захаровича кадеты нисколько не боялись и потому во время его уроков занимались всем, чем угодно, но только не историей, довольствуясь приготовлением заданного по учебнику. Только несколько любителей слушали восторженные отзывы Ивана Захаровича о мудром законодателе, к которому учитель, по-видимому, питал особое пристрастие, так как возвращался к нему не раз... Римскую

историю Иван Захарович, кажется, меньше любил, и, вероятно, поэтому предоставлял нам знакомиться с ней самим и, слушая наши ответы, одобрительно покачивал головой, хотя подчас ученик и немилосердно перевирал факты. Как кажется, Иван Захарович, за старостью лет, и сам забывал факты, не имея перед глазами книги - да простит ему бог! Несмотря на возможность делать в классе все, что угодно, кадеты "берегли" Ивана Захаровича, то есть вели себя настолько прилично и тихо, насколько было необходимо, чтоб не накликать прихода начальства.

Иван Захарович был общительный человек и, случалось, вместо того, чтобы вызывать и спрашивать, он "лясничал" о предметах, вовсе не относящихся к древней истории, и тогда его слушали с большим интересом и все оживлялись, узнавая, как он провел лето в деревне и каких вылавливал окуней в озере. Он был завзятый рыболов и о ловле окуней рассказывал с увлечением, едва ли не большим, чем о Готфриде Бульонском, который, надо думать, порядочно-таки надоел и ему самому.

Если во время таких разговоров неожиданно появлялся в классе инспектор, Иван Захарович, подмигивая лукаво глазом классу, как ни в чем не бывало, начинал:

- Итак, господа, мы только что узнали, какой мудрый законодатель был Солон... Теперь посмотрим...

Класс был в восторге от находчивости старика и, разумеется, никогда не выдавал его, и инспектор уходил, не подозревая, что Иван Захарович большую часть урока посвятил беседе о ловле окуней.

Иногда Ивана Захаровича, несмотря на самые дружеские к нему отношения, травили. Обыкновенно травля состояла в том, что какой-нибудь кадет с самым невинным видом обращался к Ивану Захаровичу:

- Иван Захарович! Позвольте вас спросить об одной вещи...

- Спрашивай, братец, спрашивай, - добродушно отвечал Иван Захарович, не подозревавший никакой каверзы.

- Отчего это у вас, Иван Захарыч, нос такой красный?

- А тебе какое дело до моего носа? Какое тебе дело? - с сердцем замечал Иван Захарович. - Видно, хочешь из класса вон, а?..

- Я так, Иван Захарыч, право, так, больше из любознательности. Я слышал, что красные носы бывают у тех, кто пьет одну воду. Правда это, Иван Захарыч?

- Дурак ты, и злой дурак - вот что правда! Ступай вон из класса!

- За что же, Иван Захарыч?

- За то, что ты свинтус и говоришь дерзости...

- И не думал, Иван Захарыч... Разве красный нос...

- Вон! - кричал окончательно осердившийся старик и, выпрямившись во весь свой рост, трагическим жестом руки указывал на двери.

- Иван Захарыч, милый, голубчик, простите, - начинал искусственно жалобным тоном молить кадет.

- Не стоишь... Ступай вон!



- Я, право, не хотел оскорбить вас, Иван Захарыч, ей-богу не хотел... Мы все так вас любим...

- Любим, любим! - подхватывал весь класс. - Простите Егорова!

- Иван Захарыч! Позвольте остаться в классе... позвольте... Ведь меня не пустят за корпус, а у меня мать больна... Каково ей будет!..

- Мать больна... И ты не врешь?..

- Право, не вру, - не моргнувши глазом, врал школяр.

Добряк Иван Захарович, быстро отходивший, как все вспыльчивые люди, успокаивался, обыкновенно прощал и при этом говорил:

- Красные носы бывают у пьяниц... Ты это хотел знать?..

При такой постановке вопроса повеселевший было кадет смущенно молчал.

- А у меня, братец, красный нос от природы, коли тебя смущает мой нос. И я не пьяница, и тебе не советую быть пьяницей... Но все же лучше быть пьяницей, чем злым человеком... Ну, садись на место и не будь никогда злюкой... А что захочешь спросить - спрашивай прямо, без хитростей... Бери пример с мудрого Солона.

- Добрый, славный вы, Иван Захарыч! - кричал класс. - А мы Егорова вздуем!

- Не надо, не дуйте! - заступался Иван Захарыч.

И, снова сделавшись добродушным, Иван Захарыч продолжал урок.

Иногда по неделям он не являлся - "болел", тщательно скрывая от кадет свою болезнь. После уж мы узнали, что этот старик, одинокий как перст, запивал.

## VI

Ярким и блестящим метеором промелькнул перед нами, оставив по себе одно из самых светлых воспоминаний, учитель русского языка и словесности Дозе. К сожалению, он преподавал очень короткое время и так же неожиданно исчез, как и появился однажды у нас в классе вместо старого Василия Ивановича.

Словно вешняя душистая струя свежего воздуха ворвалась в класс, и чем-то новым, хорошим, возбуждающим пахнуло на огрубелых кадет, благодаря этому учителю, приглашенному начальством, вероятно, для оживления учительского персонала. С первого же своего появления он поразил нас. Ничто, решительно ничто не напоминало в этом невысоком, красивом молодом brunete, с большими, мягкими и вдумчивыми черными глазами и необыкновенно интеллигентным липом, тех одеревенелых и грубых поденщиков-учителей, которых мы привыкли видеть. И его несколько застенчивые манеры, изящная вежливость и серьезность отношения к кадетам, и самый его штатский черный сюртук вместо засаленного форменного сюртука корпусных преподавателей - все это производило впечатление чего-то невиданного, диковинного и обаятельного...

На первом же уроке его хотели "испытать". И когда молодой учитель обратился к классу с вопросом, что мы проходили и что мы читали, один из "битков" нарочно стал громко разговаривать с соседом, а другой свистнул.

Дозе на минуту смолк и с мягкой улыбкой обратился к шумевшим:

- Надеюсь, господа, вы недолго будете нам мешать и позволите мне продолжать? Я ведь,

кажется, буду преподавать юношам, а не маленьким детям, которых надо останавливать? Не правда ли?

Эти вежливые слова, эта милая улыбка, вместо обычных учительских окриков и высылков из класса, заставили опешить шумевших кадет, и они тотчас же смолкли. И на весь класс эта маленькая речь оказала сильное действие. Все точно выросли в своих собственных глазах, и всем было словно стыдно перед этим "штафиркой". В самом деле, не маленькие же они дети!

В первый же урок учитель познакомил нас с Гоголем, прочитавши "Шинель". Читал он мастерски, и большая часть класса замерла в восторженном внимании, слушая произведение великого писателя. И каким смешным показался Василий Иванович, отзывавшийся неодобрительно о Гоголе! Только три человека из самых "отчаянных", совсем отупевших кадет, оставались равнодушными. После чтения, молодой учитель кое-что рассказал о Гоголе и назвал "Ревизора" и "Мертвые души", отзываясь о них восторженно. В следующий урок он обещал объяснить нам значение прочитанной повести.

Уроки Дозе стали для нас какими-то праздниками. Благодаря ему, кадеты впервые услышали горячее, живое слово об униженных и оскорбленных, о возвышающем значении литературы, об ее задачах и идеалах, и о громадной важности подготовлявшегося освобождения крестьян, на которое многие из нас смотрели, как на обиду помещикам. Он читал нам Пушкина, Лермонтова, Гоголя, познакомил с "Записками охотника" Тургенева и с "Бедными людьми" Достоевского. И все это объяснял, комментировал... В следующем году он имел намерение прочитать нам хотя краткий курс истории литературы и, удивляясь нашему невежеству по части русского языка, видимо желал приохотить нас к его изучению. Ученические сочинения, детски наивные и большею частью безграмотные, он поправлял с любовным самоотвержением и объяснял, как важно уметь излагать на бумаге свои мысли... Одним словом, этот человек пробудил юношей, заставив работать дремавший мозг, заронил добрые зерна и старался развить литературный вкус, приохочивая к хорошему чтению.

Прошло несколько месяцев, уж близки были экзамены, как в одно весеннее утро вместо нашего милого, любимого Дозе в класс пришел опять Василий Иванович и занял место на кафедре, предварительно зарядив, по обыкновению, обе свои ноздри табаком.

Вероятно, на наших лицах слишком ярко отразилось неприятное изумление при его появлении. И хотя на лице Василия Ивановича и блуждала его обычная сладенькая улыбочка, но он видимо был раздражен нашим безмолвным изумлением, хотя и старался скрыть это.

- Вот, я опять со своими старыми друзьями, - заговорил он. - Я очень рад, а вы, господа, как будто не особенно довольны, что возвратился ваш старый учитель, а?..

Класс угрюмо и напряженно молчал.

Кто-то осведомился о молодом учителе, и с разных сторон спрашивали:

- Он разве заболел?

- Он разве не придет?

- Не придет... Он больше не будет преподавать! - ответил Василий Иванович, и недобрая, злорадная усмешка перекосила его губы.

- Он ушел из корпуса?..

- Да-с, ушел...

- Отчего он ушел? - раздались голоса.

- Этого я вам объяснять не стану, - как-то загадочно усмехаясь, промолвил Василий Иванович. - Могу только сказать, что этот господин, который вам так понравился, больше не будет читать разных Некрасовых, Тургеневых и Достоевских и набивать ваши головы вредными бреднями... Довольно-с!

В этом тихом, скрипучем старческом голосе звучала злобная нотка.

- По-вашему ведь и Гоголь не великий писатель, а карикатурист, и тоже вредный? - с нескрываемой насмешкой обратился к старику один из неофитов яростный поклонник Гоголя и преданный ученик Дозе.

- По-моему, Васильев, ты должен молчать, если тебя не спрашивают! Вот что по-моему! - со злостью проскрипел старик и имел неосторожность прибавить, это господин Дозе тебя так просветил?

Фамильярно-грубое "ты", обращенное к пятнадцатилетнему юноше, ученику младшего гардемаринского класса, после изысканно-вежливого обращения Дозе, показалось слишком оскорбительным, а злобные намеки на Дозе - гнусной клеветой. И юноша вдруг стал блее рубашки и крикнул старику:

- Прошу не говорить мне "ты"... Слышите?

Василий Иванович побагровел, но не сказал ни слова. Он только плотнее сжал свои тонкие губы и, кинув злобный взгляд на протестанта, развернул историю Карамзина.

- Ведь вот, хорошие учителя уходят, а такие остаются! - проговорил кто-то вполголоса, однако довольно громко для того, чтоб Василий Иванович мог услышать.

Весь класс с любопытством смотрел на Василия Ивановича, но он как будто ничего не слышал и начал читать. Только голос его слегка дрогнул, и по лицу пробежала судорога.

- Отец все слышал! - чуть слышно пролепетал его сын.

После класса Василий Иванович пошел к инспектору. Об этом тотчас же узнали и с нетерпением ожидали, чем разыграется вся эта история. Но никакой "истории", благодаря А.И.Зеленому, не вышло. Он только призвал к себе на квартиру Васильева и просил рассказать, как было дело. О кадете, дурно отозвавшемся о преподавателях, Василий Иванович, как оказалось, не счел нужным докладывать инспектору, тем более, что и не мог указать виновного. Васильев рассказал, как было дело, и не получил выговора. Только отпуская его, Александр Ильич заметил:

- Вы бы могли сдержаннее ответить... А то: кричать на учителя... Нехорошо-с! Вот он вам теперь единицы будет ставить! - усмехнулся Александр Ильич и прибавил, - уж вы не раздражайте старика... смотрите... А я его, с своей стороны, попрошу, чтобы он... того, не говорил вам, господа, "ты"...

Кажется, этот инцидент послужил поводом к общему распоряжению обращаться к воспитанникам старших классов с местоимением "вы". По крайней мере, с этого времени Василий Иванович не говорил уже больше никому "ты" и вообще стал гораздо любезнее, и даже начинал заискивать популярности и уже не называл Гоголя карикатуристом... Старик как будто чувствовал близость конца своего педагогического поприща и, жадный до уроков, готов был идти на компромиссы.

И это лицемерие возбуждало в кадетах еще большее отвращение. Его уж даже и не боялись и начинали третировать...

Отстали от прежней привычки говорить на "ты" и остальные учителя и ротные командиры, и даже сам директор корпуса, престарелый и болезненный адмирал, и тот продолжал говорить "ты" только маленьким кадетам неранжированной роты. Между кадетами ходил слух, будто о более вежливом обращении с кадетами и о крайне осторожном употреблении телесных наказаний директору было приказано высшим начальством.

Исчезновение любимого учителя, разумеется, интриговало нас всех. Неужели его выгнали за то, что он нам читал Гоголя и Тургенева? Подобное предположение падало само собой уже потому, что приглашенный вслед за уходом Дозе профессор М.И.Сухомлинов, преподававший в старшем классе, тоже пользовался большим уважением и любовью своих учеников и не отрицал Гоголя.

Только впоследствии мы узнали, что наш любимец-учитель, бывший членом какого-то кружка, принужден был уехать из Петербурга на далекий Север.

## VII

Преподаватели многочисленных предметов, относящихся к морскому делу, были по преимуществу ротные командиры и корпусные офицеры. По совести, нельзя сказать, чтобы и преподавание специальных предметов стояло на надлежащей высоте, и чтобы большинство господ наставников отличалось большим педагогическим умением и любовью к своему делу. Они были почти "несменяемы" и все почти из одной и той же маленькой "привилегированной" среды корпусных офицеров. Занятые и воспитанием, и обучением в одно и то же время, они обыкновенно дальше книжек, заученных в молодых годах, не шли и преподавали до старости с ремесленной аккуратностью и рутинной, без всякого "духа живого". Учительский персонал редко обновлялся. Нужна была чья-нибудь смерть или какое-нибудь перемещение, чтобы открылась вакансия, и свежие молодые силы могли получить доступ в этот храм, где все места были заняты своими авгурами. Известные профессора того времени Остроградский, Савич, Буняковский, Сомов читали только в офицерских классах. Их и вообще более или менее известных преподавателей-специалистов со стороны не приглашали в морской корпус, довольствуясь для кадет, так сказать, доморощенными преподавателями из корпусных офицеров, которые таким образом получали дополнительный заработок к своему жалованью и были гораздо обеспеченнее настоящих, плававших моряков. Сами же они были моряками только по названию да по мундиру. Морской дух, благодаря которому были Лазаревы, Нахимовы и Корниловы, приобретался на корабле, а не в корпусе. Корпус, напротив, ничего не давал в этом смысле.

Такой постановкой учебного дела, - постановкой давно заведенной рутины, винить за которую нельзя было инспектора классов А.И.Зеленого, - и объяснялся тот факт, что окончившие курс многочисленных наук в морском корпусе его питомцы до того основательно позабывали науки, что, сделавшись потом капитанами и умея отлично управлять судном, в то же время бывали в руках своих штурманов и механиков, и без первых многие не сумели бы астрономически определить своего места и сделать вычислений, а без вторых знать и понимать машину своего судна. В старые времена редкий командир решился бы выйти из порта в море без штурмана, и если, бывало, штурман перед уходом загуливал на берегу, то посылали его разыскивать, и только когда штурмана доставляли на судно и вытрезвляли, - капитан выходил в море.

Не обновился учительский персонал и не улучшилось преподавание и после того, как А.И.Зеленой оставил место инспектора классов по случаю назначения директором штурманского училища в Кронштадте. Это было на третий год моего пребывания в корпусе, и я помню, какое общее и непритворное сожаление вызвал в кадетях уход этого доброго и гуманного человека. Вероятно, какие-нибудь иерархические соображения помешали назначить его директором морского корпуса после смерти старика-адмирала В.К.Давыдова, справедливого и доброго человека, кое-что сделавшего для корпуса и желавшего, быть

может, сделать более того, что сделал, но болезненного, престарелого и не имевшего достаточной энергии, чтобы основательно вычистить эти воистину Авгиевы конюшни. На этом месте такой образованный и умный человек, как А.И.Зеленой, при новых веяниях в морском ведомстве, вероятно, многое бы изменил в порядках морского корпуса и добился бы значительного поднятия учебной части. Но вместо В.К.Давыдова назначен был его помощник, контр-адмирал С.С.Нахимов, брат известного героя, почти всю свою жизнь проведший в стенах корпуса на неотчетственных и незначительных должностях, человек очень мягкий и добрый, но, кажется, и сам никогда не мечтавший о таком важном poste, требующем больших и особенных способностей, не говоря уже о знаниях.

С.С.Нахимов пробыл, впрочем, недолго, и в год нашего выпуска директором корпуса был назначен Воин Андреевич Римский-Корсаков, составивший, кажется, записку о преобразовании этого заведения.

Это был человек не из корпусных заматорелых "крыс", а настоящий, много плававший моряк, превосходный капитан и потом адмирал, образованный, с широкими взглядами, человек необычайно правдивый и проникнутый истинно морским духом и не зараженный плесенью предрассудков и рутины присяжных корпусных педагогов. Он горячо и круто принялся за "очистку" корпуса обновил персонал учителей и корпусных офицеров, призвал свежие силы, отменил всякие телесные наказания и вообще наказания, унижающие человеческую натуру, внес здоровый, живой дух в дело воспитания и не побоялся дать кадетам известные права на самостоятельность, завел кадетские артели с выборными артельщиками, которые дежурили на кухне, одним словом, не побоялся развивать в будущих офицерах самостоятельность и дух инициативы, то есть именно те качества, развития которых и требовала морская служба. Сам безупречный рыцарь чести и долга, гнушавшийся компромиссов, не боявшийся, "страха ради иудейска", защищать свои взгляды, такой же неустрашимый на "скользком" сухом пути, каким неустрашимым был в море, он неизменно учил кадет не бояться правды, не криводушничать, не заискивать в начальстве, служить делу, а не лицам, и не поступаться убеждениями, хотя бы из-за них пришлось терпеть. При нем ни маменькины сынки, ни адмиральские дети не могли рассчитывать на протекцию. При нем, разумеется, не могло быть того, что, говорят, стало обычным явлением впоследствии: покровительства богатым и знатным, обращения особенного внимания на манеры, поощрения "похвальной откровенности" и ханжества. При нем, конечно, не устраивались балы на счет воспитанников старшего курса, которые, хочешь не хочешь, а по "совету" начальства должны вносить рублей по 40, по 50 с человека на такие балы. Что сказали бы наши отцы, прежние старики-адмиралы, если бы мы, тогдашние кадеты, вдруг объявили им, что необходимы такие деньги для устройства балов? Они бы только ахнули и, понятно, не дали бы ни копейки и, пожалуй, немедленно доложили бы кому следует о подобном "разврате". Впрочем, ничего подобного в те времена и не было. Обычные ежегодные балы морского корпуса были веселы, хотя и скромны, а об устройстве каких-нибудь особенных балов на счет кадет - не могло даже и придти в голову ни одному из прежних директоров, да и ни одному из прежних кадет.

Но возвращаюсь к Римскому-Корсакову. При этом директоре справедливость была во всем и всегда, оказывая благотворное влияние на кадет. Он был строг при всем этом, но кадеты его обожали, и бывшие в его время в корпусе с особенным чувством вспоминают о Воине Андреевиче. Всегда доступный, он не изображал из себя "бонзы", как изображали многие директора, и кадеты всегда могли приходиться к нему с объяснениями и со всякими заявлениями. Высокий, сухощавый, несколько суровый с виду, он серьезно и внимательно выслушивал кадета и сообщал свое решение ясно, точно и коротко.

При В.А.Римском-Корсакове морской корпус, как кажется, переживал самое лучшее время своего существования после николаевского времени. Преобразовательное движение шестидесятых годов нашло в этом доблестном моряке лучшего выразителя и лучшего воспитателя будущих моряков. Но, к сожалению, плодотворная деятельность В.А.Римского-Корсакова была недолга. Еще далеко не все задуманное им было совершено, и

"очистка" корпуса далеко еще не была окончена, как смерть сразила этого человека, а вместе с человеком, - как это часто у нас бывает, - и те принципы, которые он проводил в деле воспитания.

Место его было занято одним из старых корпусных педагогов, совсем не разделявшим взглядов покойного директора.

## VIII

Новый инспектор, назначенный вместо А.И.Зеленого, бывший ротный командир и преподаватель, давно служивший в корпусе, человек очень умный и подчас остроумный, не обладал той сердечной теплотой, которая так располагала кадет к А.И.Зеленому, и не умел, подобно своему предместнику, обращаться с кадетами. Его только боялись и не без основания чувствовали в нем себялюбивого холодного эгоиста и большого лицемера.

Он пользовался большим влиянием при таком благодушном директоре, каким был С.С.Нахимов, и не мог, разумеется, не знать, что готовится в близком будущем преобразование морского корпуса, и не видеть неудовлетворительности учебного персонала, - этих корпусных авгуров, едва ли имевших и время, и охоту, чтоб освежать и пополнять свои знания.

Но и при нем все оставалось по-старому: тот же "ремесленник-учитель", та же рутина.

Он был слишком осторожный человек, - недаром кадеты звали его "дипломатом", - чтобы начинать ломку за свой страх, хотя бы при данных обстоятельствах она и была возможна. Да и сам он был, так сказать, вполне корпусный "педагогический фрукт", заматерелый в рутине, и не желал заносить руку на своих сослуживцев-сотрудников, а ко всему этому, быть может, и не сочувствовал новым веяниям. Как бы то ни было, но преподавание при нем далеко не улучшилось, и новые силы, получившие доступ по случаю перемены инспектора, были далеко не из блестящих, и в выборе их, как кажется, более руководствовались соображениями, имеющими очень отдаленное отношение к педагогическим способностям.

По крайней мере, такой важный для будущих моряков предмет, как астрономия, был поручен одному из очень небожких корпусных офицеров, едва ли обладавшему необходимыми для преподавателя сведениями, что, разумеется, не могло оставаться долго тайной для кадет. Скоро было замечено, что нового "астронома" нередко ставили в большое затруднение вопросы, предлагавшиеся способными и сообразительными учениками. Вначале несколько сконфуженный преподаватель обещал ответить на них в "следующий раз", т.е. когда сам справится с учебником, но частенько забывал свои обещания.

И новому "астроному", человеку, впрочем, весьма порядочному и доброму, вдобавок к прозвищу, "колбаса" пристегнули еще прилагательное; "астрономическая", и разъяснений уже не просили.

Немало было таких ремесленников, и в числе их был сам "дипломат".

Но среди этих ремесленников-педагогов было два-три человека, горячо любившие и знавшие свое дело, и к числу этих "приятных исключений" принадлежал И.П.Алымов, выдающийся, талантливый преподаватель и необыкновенно светлая личность, память о которой, вероятно, чтится всеми бывшими его учениками.

Надо было видеть этого маленького, худощавого человека с большой головой и детски кротким взглядом рассеянных мечтательных глаз, когда, бывало, он читал свой предмет - теоретическую механику! С какой любовью и с каким мастерством он читал, увлекаясь за уроками, весь поглощенный желанием, чтобы все его понимали и чтобы все знали его предмет. И это увлечение невольно передавалось и слушателям. Кротко незлобиво,

добросовестного и правдивого, его все любили, а известно, что нередко любовь к учителю заставляет любить и преподаваемый им предмет. И у него почти весь класс занимался хорошо. Сделавши какую-нибудь выкладку или изложив какой-нибудь закон, он обязательно требовал, чтобы непонявший заявил, если чего не понял, и с каким страстным усердием он разъяснял непонятое, и только тогда продолжал урок, когда убеждался, что все поняли. Он был многосторонне образованный математик и много работал, отдавая большую часть времени любимой им науке. Рассеянный, он нередко в классе, вместо платка, вытирал лицо губкой, а доску, вместо губки, платком, и детски удивленно щурил глаза, когда в классе раздавался смех, и наконец сам хохотал, как ребенок, убеждаясь в своей рассеянности.

Это был совсем не от мира сего человек и доброты редкой. Кадеты обращались к нему со всевозможными просьбами и нередко занимали у него даже деньги. Во время своих дежурств, как корпусного офицера, он обыкновенно читал или занимался какими-нибудь вычислениями. А то ходил, не обращая ни на что внимания, по зале и сам с собой словно разговаривал, повторяя математические термины. Это он думал вслух. А случалось, что термины вдруг заменялись каким-нибудь духовным гимном, который он напевал. Но эти странности не удивляли кадет. Все знали, что И.П.Алымов очень религиозный человек и ведет, как говорили, самую аскетическую жизнь. Но он никогда не говорил об этом, и его религиозное чувство, доходившее иногда до экзальтации, когда он по нескольким неделям постился и вообще умерщвлял свою плоть, - нисколько не сделало его суровым и не мешало ему относиться к кадетам с самой трогательной терпимостью. И кадеты положительно боготворили его и во время его дежурств берегли своего любимца, не позволяя себе каких-нибудь особенных шалостей.

Зато надоедали ему бесконечно, не стесняясь отрывать его от занятий... То кто-нибудь попросит его объяснить задачу по астрономии или помочь из физики, то подойдет к нему просто затем, чтоб "полясничать".

И кроткий добряк, со своим бледным лицом, напоминавшим лицо мучеников, никого не прогонял, ни на кого не сердился. Он охотно объяснял задачу и "лясничал" с кадетами, причем всегда как-то сводил разговор на рассказ о любимом им Лавуазье и на любимую им теорию "наименьшего сопротивления воды", которой он тогда занимался.

Говорил он всегда с какою-то увлекательной восторженностью и всегда далекий от пошлых житейских дрязг, которые, казалось, ему были совсем и чужды. Ни о карьере, ни о чинах, ни о прочих благах жизни никогда не заводил он речи, а любил поговорить о деятелях науки и об их самоотвержении. Вспоминая теперь этого чудного человека, освободившего, как я слышал, своих крестьян еще до освобождения, можно только удивляться, каким образом сохранил свою свежесть этот человек среди окружающей его среды. Разумеется, его спасла наука, в которой он искал и нашел спасенье. Не испортили его даже и эти маленькие разбойники-кадеты, которые нередко добрых доводили до раздражения и под конец делали этих добрых обыкновенными "корпусными крысами".

Нечего и прибавлять, разумеется, что совсем ребенок в жизни, не понимавший, что значит интрига и пролазничество, И.П.Алымов не умел приспособляться к среде и не особенно преуспевал. Карьера этого талантливого математика и благороднейшего человека была не из особенно блестящих и жизнь неустанным, плохо вознаграждаемым трудом, пока болезнь не свела его в могилу далеко еще не в старых годах.

Он умер инспектором классов в штурманском училище в Кронштадте и, тяжело больной, почти умирающий, собирал к себе на квартиру учеников и читал им лекции в постели еще за неделю до смерти.

IX

- А ты, свет, коли что смекаешь, смекай про себя. Если тебе кажется, что на песце нельзя возвести строения, не смущай тех, которые сие считают вполне возможным. Пусть их!

Так, бывало, говорил своим тихим и мягким, слегка певучим голосом наш корпусный батюшка, шутливо грозя своим высохшим костлявым пальцем. При этом его умное старческое лицо, изрытое морщинами, светилось выразительной, тонкой улыбкой, которая, казалось, досказывала не вполне высказанную мысль...

Таким языком говорил он с немногими, которых отличал и иногда звал к себе на квартиру, где угаживал чаем с вареньем и вел оживленные, полные ума и юмора беседы, покуривая хорошие гаванские сигары.

Этот батюшка пользовался большим авторитетом, и его побаивалось корпусное начальство, так как в случае какой-нибудь вопиющей несправедливости он являлся заступником и предстателем обиженных кадет. И когда случался какой-либо чрезвычайный казус с кадетом, он всегда шел искать последней защиты у батюшки, который-таки часто вызволял от наказания. Особенно боялся его преподаватель физики, совсем лысый капитан I ранга, очень умный и хороший преподаватель, но развращенный циник, ставивший хорошие баллы кадетам не столько по степени их знания, сколько за смазливость их физиономий. Этому эстетика особенно недолюбливал батюшка, как и "физик", в свою очередь, терпеть не мог "старого иезуита", как честил он за глаза батюшку за то, что тот любил и почитать светские книги, и пофилософствовать, и выкурить хорошую сигару, а между тем вид, как выражался физик, имел "самый постный".

Преподавал батюшка терпимо и не был особенно требователен.

- Не в попы тебе, свет, идти, а в морские офицеры, - снисходительно говорил он, замечая нетвердость в текстах. - Будешь в море, господа бога и без текста вспомнишь и помолишься. А не помолишься, тебе же хуже, ибо тяжко, свет мой, жить совсем без веры... Да хранит тебя господь от такого несчастья!

И батюшка самым последним ученикам не ставил менее восьми баллов.

Словоохотливый старик любил иногда в классе рассказать что-нибудь из своего, богатого воспоминаниями, прошлого и обыкновенно начинал свой рассказ словами: "Это было, друзья мои, не так давно, лет тридцати тому назад", вызывая улыбку на лицах юных слушателей. Говорил батюшка красноречиво и не без юмора, и мы, бывало, с удовольствием слушали его рассказы, иногда даже во втором и третьем издании. С восторженным умилением говорил он об освобождении крестьян и нередко советовал нам, будущим офицерам, "не ожесточаться в служебном гневе" и всегда помнить, что сила в правде и любви, которую и подневольный матрос чувствует. И, случалось, рассказывал по этому поводу какую-нибудь историю.

Я пользовался расположением батюшки и изредка получал от него приглашения зайти к нему.

Обратил он на меня свое внимание по следующему случаю:

Однажды во время его урока в среднем гардемаринском классе я читал, держа книгу на парте, - "Современник", принесенный мною в корпус от одних знакомых. Должно быть, я очень увлекся чтением, потому что не заметил, как в классе наступила тишина. Толчок в бок товарища заставил меня поднять голову и увидеть возле себя батюшку.

- Что это, свет мой, ты такое читаешь? Видно, очень интересно, что своего батюшку не слушаешь? Я подал батюшке книгу.



- А!.. "Современник"! - не без изумления проговорил он, пристально взглядывая на меня. - Критическая статья? А я думал, ты каким-нибудь романом зачитываешься и только воображение нудишь...

Батюшка стал машинально перелистывать книгу и заметил там исписанный листок моих виршей, в которых я с усердием обличал корпусное начальство.

Он пробежал их и, возвращая книгу и стихи, промолвил с улыбкой:

- Статья, конечно, поучительная. Отчего не почитать, но только лучше бы, свет мой, не в классе, а то другой наставник, пожалуй, и взыщет... А стишки ты бы подальше припрятал, - береженого и бог бережет! Неровен час, попадут стишки в другие, более цепкие руки, что тогда?.. Стихотворца не похвалят за острословие. А перо есть, есть, братец. Тем паче не похвалят! - усмехнувшись, заметил батюшка.

И, понизив голос, прибавил:

- А ты будь спокоен. Я тебя не выдам! Я ничего не читал!

После класса батюшка остановил меня в коридоре и спросил:

- Любишь чай с вареньем?

- Люблю, батюшка.

- Так ты, стихотворец, зайди ужо вечерком ко мне. Чайку напьемся и побеседуем.

Батюшка занимал казенную квартиру в здании корпуса, недалеко от церкви. Эту квартиру хорошо знали проштрафившиеся кадеты, искавшие у батюшки защиты или ходатайства, и среди кадет ходило много рассказов о том, как он избавлял, бывало, многих от нещадной порки или же просил об уменьшении числа розог.

Он был вдовец и жил с двумя взрослыми сыновьями. Никто из них не был священнослужителем, как отец. Старший, окончивший университет, служил чиновником, а младший - моряк - кончал офицерские классы.

Я застал батюшку одного в небольшом кабинете, уставленном шкапами с книгами, за письменным столом.

Он был в подряснике и скуфейке, прикрывавшей его большую лысину, и читал, с очками на глазах, какую-то книгу. Как теперь помню, меня поразило и обилие книг, и то, что они были все светского содержания, и многие на иностранных языках, и гравюры, и портреты, среди которых не видно было ни одного портрета духовного лица. И вообще вся обстановка, мало напоминавшая о сани хозяина, меня удивила тогда.

Я несколько минут простоял на пороге, оглядывая и комнату, и письменный стол, на котором, между прочим, стояло большое серебряное распятие, и цветы на окнах, и самого батюшку, который здесь, в своем кабинете, как будто казался не таким, каким бывал на уроках, в широкой рясе с наперсным крестом на груди.

Наконец, я догадался кашлянуть. Батюшка повернул ко мне свое старое, дышавшее умом, лицо и радушно и ласково приветствовал меня.

Когда я, приблизившись к батюшке, хотел поцеловать его желтую, сухощавую руку, он отдернул ее и, потрепав меня по плечу, весело проговорил:

- Ну, садись, садись... Рад тебя видеть. Детей дома нет, и я один... Сейчас будем чай пить.

Вот, видишь ли, и я почитываю книжки, да только не в классе, - улыбнулся ласково старик, отодвигая какую-то французскую книгу. - А стишки припрятал?

- Припрятал, батюшка.

- То-то, оно и лучше. Да и совсем бы их держать в корпусе не следовало... лучше домой снеси. Чего, свет, гусей дразнить. Скоро ведь в офицеры выйдешь... А метко, братец, метко... Любишь, значит, бумагу мараить?

- Люблю, батюшка.

- Что ж, марай, марай, бог даст, что-нибудь и выйдет... кто знает? Вот, посмотри, тоже бумагу марали. Великие писатели были... Вот это - Шекспир... Вот Гёте, - перечислял батюшка, указывая на портреты. - Может, слышал?

- Кое-что и читал, батюшка, - поспешил я похвастать.

- И это, свет, Спиноза. Большой философ был... И его когда-нибудь прочтешь... Читать, братец, полезно... Умнее станешь, как с умными-то людьми беседеешь в книге... И скуки не будешь знать. И в море не одуреешь. Вас-то здесь к чтению не приохочивают, а ты, видно, охоч, даже у батюшки в классе читаешь... Ну, ну, ведь я шучу... А ежели ты уж такой любитель, я тебе книгами одолжать буду, если ты аккуратен... Вот, на первый раз "Мертвые души" тебе дам... Великая это книга, друг мой...

Скоро мы пошли пить чай. Батюшка мне наложил целую тарелочку варенья и вообще был внимателен и добр без конца. После чаю он закурил сигарку, и мы вернулись в кабинет.

Нечего и говорить, что я вернулся от батюшки очарованный, с "Мертвыми душами" в руках и с твердым намерением прочитать как можно более книг.

С той поры батюшка иногда звал меня к себе, угощал чаем и с снисходительным терпением слушал мои рассуждения о прочитанных книгах.

Х

Кадетская жизнь в морском корпусе проходила однообразно, с обычными внешними порядками закрытых учебных заведений. Время было точно распределено. За этим внешним порядком, главным образом, и следили. До внутренней нашей жизни, до того, как мы проводим свободное время, разумеется, никому не было ни малейшего дела, и едва ли корпусные педагоги действительно знали кого-нибудь из своих питомцев. В психологические тонкости тогда не входили, да, может быть, и к лучшему, принимая во внимание эту обоюдоострую психологию педагогов новейшего времени.

Кадеты вставали в 6 часов утра. Унтер-офицеры в ротах позволяли себе проспать лишние полчаса. Это же делал и старший курс, т.е. старшие гардемарины, пользовавшиеся, по традиции, некоторыми особенными правами и, между прочим, правом притеснять своих младших товарищей: средних и младших гардемарин. На нашем курсе отразилось, впрочем, влияние шестидесятых годов, и мы, старшие гардемарины, в значительном большинстве, добровольно отказались от прав гегемонии, и таким образом притеснения значительно смягчились.

Большинство кадет нанимали дневальных, которые чистили платье, сапоги и наводили блеск на медные пуговицы курток и мундиров и содержали в порядке амуницию. Меньшинство все это делало само. К семи часам, после шумного мытья в большой "умывалке", все были готовы и шли фронтом в громадный зал морского корпуса. После обычной молитвы, пропетой хором пятисот человек, садились за столы и выпивали по кружке чая и съедали по свежей

булке.

Эти вкусные, горячие булки являлись иногда большим соблазном для унтер-офицеров, особенно в младших ротах. Желание съесть вместо своей, одной законной, еще и другую, а то и третью булку влияло на чувство справедливости обжор и влекло за собой поистине варварское наказание: "остаться без булки" и выпить чай пустой. Этому наказанию кадеты боялись пуще всего и ненавидели унтер-офицеров, выискивающих предлоги, чтобы съесть чужую булку.

В восемь часов мы были в классах, где оставались до одиннадцати, после двух полуторачасовых уроков. В начале двенадцатого, ощущая уже аппетит, возвращались в роту и там получали по два тонких ломтя черного хлеба, чтобы заморить червяка перед обедом. Счастливы, имевшие деньги или пользовавшиеся кредитом в мелочной лавочке, обыкновенно в это время уписывали за обе щеки булку или пеклеванник с сыром, колбасой или вареньем, заблаговременно заказанный дневальному. За пять копеек (три копейки пеклеванник, а на две начинка) получался весьма удовлетворительный для невзыскательного кадетского желудка завтрак, и шершавая колбаса и подозрительный сыр из мелочной лавочки не возбуждали никаких брезгливых сомнений. В понедельник и вообще послепраздничные дни завтраки были и обильнее, и роскошнее, и кадеты "кантовали" на широкую ногу, уничтожая принесенные из дома яства и делясь с друзьями, ибо, по кадетским правилам, с другом обязательно следовало делиться всем поровну.

Время до часу обыкновенно проходило в обязательных занятиях фронтовым ученьем, гимнастикой или танцами, или в пригонке разных вещей. Если ожидали какого-нибудь почетного посетителя - суэта шла отчаянная, и все принимало, разумеется, блестящий вид. Мы облакались в новые куртки, одеяла стлались новые, на парадной лестнице появлялся новый ковер, ротный командир озабоченно бегал по роте, оглядывая, все ли чисто, все ли в порядке, и щи в такие дни бывали жирней, "говядина" как будто сочнее, и эконо, жирный и полный корпусный офицер с маленькими заплывшими глазками, как будто озабоченнее и напряженнее. Случалось, что подобное ожидание длилось по нескольку дней, держа нервы начальства в напряженном состоянии, а его самого в подначальном трепете. Кадеты, разумеется, видали все эти сцены ожидания и приема, привыкали считать их необходимым явлением и сами потом, сделавшись начальством, пускали пыль в глаза и так же трепетали... Уроки не пропадали даром.

Эта показная суматоха, к сожалению, обычная в учебных заведениях и которая так развращающе действует на детей, приучая их к лицемерию и обману, была, как я слышал, уничтожена в морском корпусе при директоре В.А.Корсакове. При нем, кого бы ни ожидали, ничего не менялось, и почетные посетители могли видеть учебное заведение в его обычном, будничном виде и кадет - в их старых куртках, а не в виде прилизанных, приодетых благодетельных мальчиков, обожаемых попечительным начальством и обожающих своих наставников. Но это "новшество" умного адмирала не привилось, как не привились и другие его благотворные педагогические идеи. С его смертью, снова, в ожидании приезда морского министра, появлялись новые ковры, новые куртки, словом, показная комедия, и чуть ли не устраивались целые балетные представления.

Обедали мы в час. Обед состоял из трех блюд по раз составленному расписанию: супа, щей с кашей или гороха, жареной говядины или котлет и слоеных пирогов с мясом, капустой и вареньем. По праздникам прибавлялось четвертое блюдо. Черный хлеб и превосходный квас, который мы пили из двух серебряных старинных стоп, стоявших на каждом столе для двадцати человек, были a discretion.\*

---

\* в неограниченном количестве (франц.).

Не принимая даже в соображение кулинарной неприхотливости кадет и их постоянного аппетита, надо сказать, что кормили нас в морском корпусе вообще недурно (а при Римском-Корсакове, говорят, и отлично), и при мне, сколько помнится, из-за пищи не было ни одного серьезного недоразумения. Так называемые беспорядки или, как в старину называли, "бунты" происходили в корпусах единственно по этому поводу, и опытные эконома отлично знали меру долготерпения кадетских утиных желудков. При мне ходила легенда об одном из таких "бунтов" в морском корпусе, начавшемся из-за отвратительной каши и кончившемся не особенно приятно для эконома, на голову которого была вылита миска щей, и еще неприятнее для многих кадет, нещадно выпоротых, и для двух, "записанных", как тогда выражались, в матросы.

Эти легенды о "бунтах", традиционно передававшиеся из поколения в поколение, держали, так сказать, на известной высоте цивические требования кадет от эконома и, в свою очередь, не забывались и экономами, как внушительные уроки прошлого.

Небольшие недоразумения - в виде окурка в пироге или чересчур большого обилия жил в котлетке - разрешались обыкновенно тихо и мирно, к обоюдному удовольствию. Эконом приказывал подать новые пироги или новые котлетки на стол протестантов, и тем дело кончалось. Вообще эконом наш был очень любезный, обязательный на соглашения человек, что, впрочем, не избавляло его - уже по своему званию эконома, кадетами не очень уважавшемся - от предания "анафеме" во время ежегодного традиционного празднования старшим курсом дня "равноденствия", когда голый Нептун, в сопровождении наяд и тритонов, прочитывает параграф из астрономии и затем предаёт анафеме по очереди все начальство, за исключением некоторых избранных. Впрочем, об этом характерном праздновании равноденствия в морском корпусе будет рассказано подробно впереди.

До трех часов после обеда время было свободное, и можно было располагать им по усмотрению. Прилежные готовили уроки или делали задачи, немногие читали; большинство бродило по коридорам, по ротной зале и собирались курить в ватерклозете, предварительно поставив часового. Близкие приятели и друзья ходили попарно и "лясничали", хотя самое обычное время для этого был вечер. В эти же часы обыкновенно приходили навещать родственники, и кадеты навещали своих больных приятелей в лазарете. Собственно говоря, настоящих больных было мало, и большинство находящихся в лазарете "огурялось". На жаргоне кадет "огурнуться" значила избавиться от уроков, почему-либо неприятных и обещающих единицу, из-за которой можно в субботу не попасть "за корпус", то есть домой.

Маленькие кадеты перед тем, чтоб "огурнуться", обыкновенно усердно натирали себе глаза, набивали ударом локтя по столу пульс, отчаянно мотали головой и являлись на прием с самыми постными рожами. Врачи большей частью их принимали в лазарет в качестве больных, а старший доктор, старик-немец, при осмотре добросовестно осматривал язык и щупал пульс.

Но случалось - особенно, если в лазарете было довольно больных, - что огурнуться нельзя было, несмотря на все ухищрения. Особенно один врач из молодых любил устраивать кадетам каверзы. Бывало, придет кадетик как будто больной, проделав все манипуляции, и, видя ласковое на вид лицо доктора, преисполненный надежды, что его примут, с особенно жалобным видом начнет распространяться, как у него голова болит.

- А еще что?.. - спрашивает, по-видимому, вполне сочувствуя, доктор.

- Ломит всего...

- А правый бок болит? - продолжает с тою же серьезностью каверзный человек.

- Болит.

- И левый глаз покалывает?

- Покалывает.

- И правая нога как будто болит?

- Болит, - добросовестно поддакивает не подозревающий подвоха кадетик.

- Так ступайте вон! Вы все врете! - вдруг меняет тон доктор, и опешивший "больной" уныло возвращается в класс.

Воспитанники старших классов прямо-таки просились отдохнуть, и, если места были, их принимали в лазарет на день, на другой, и на досках у их кроватей писалось обычное "febris catharalis"\*.

---

\* простуда (буквально: лихорадка катаральная - лат.).

После вечерних классов, продолжавшихся от трех до шести, кадеты должны были готовить до ужина уроки и сидеть в ротном зале у своих конторок. Занимайся или нет, но сиди! Это принудительное сиденье, разумеется, не по нутру было кадетам, и они то и дело перебежали один к другому, или уходили в умывалку поболтать или покурить в своем излюбленном месте - в этом кадетском клубе, где всегда топился камин и всегда шли оживленные беседы. Если дежурный офицер был из "любимых", не ловил в курении, не придирался, то и ему было покойно, но если на дежурстве был "злой" - положение его было далеко не из приятных. Кадеты выдумывали самые разнообразные штуки, чтобы только насолить "корпусной крысе". Среди тишины вдруг раздавалось мяуканье или собачий лай, и только что бросится "крыса" в одну сторону, как на противоположной стороне раздается петушинный крик, и офицер мечется, как ошпаренный кот, пока не догадается уйти в дежурную комнату, поставив наугад несколько человек "под часы". Но тогда начинались пререкания. Наказанные утверждают, что они не успеют приготовить уроков и принуждены будут объяснить инспектору причину. А то вдруг к дежурному офицеру, заведомо не знающему никаких наук, начинают являться с просьбами разъяснить задачу или объяснить из аналитики. Являются кадеты один за другим и все говорят с самым невинным видом:

- Адольф Карлыч, покажите... Адольф Карлыч, не можете ли объяснить?

Адольф Карлович, старая корпусная крыса из остзейских немцев, долговязый, сухопарый и жесткий человек, озлобленный против кадет, действительно отравлявших ему жизнь, как, в свою очередь, отравлял и он кадетам, обыкновенно сперва выдерживал хладнокровно первые нападения. Сохраняя свой обычный, несколько величественный вид, он говорил со своим немецким акцентом, что не его дело показывать, что он не желает показывать и не будет показывать, ибо порядочные ученики сами должны понимать все без помощи, а дураков все равно не научишь. Но, видя насмешливые лица, которые недоверчиво улыбались, и замечая, что вместо уходивших кадет являлись новые и все с теми же просьбами: "показать" и "объяснить", долговязый Адольф Карлович, наконец, терял самообладание. Весь красный, трясаясь от злобы, он бешено кричал: "в карцер, в карцер!" и, вцепившись в руку кадета, на котором изливался его гнев, сам тащил его в карцер - маленький, темный закуток, позади цейхауза.

А во время этого спектакля сзади раздавались голоса:

- Ревельский болван!

- Неуч! Ничего не смыслит!

- А туда же: "Не хочу объяснять"!

И дьявольский гогот сопровождал эти любезные замечания.

Подобные "истории" бывали почти постоянно во время дежурства "ревельского болвана", который действительно был величественно ограничен и, главное, зол. И он, в свою очередь, мстил кадетам и, считая их своими врагами, с особенным удовольствием излавливал их, ставил под часы, сажал в карцер, жаловался ротному командиру и злорадствовал, когда кадета наказывали.

Но он давно служил в корпусе, и его держали, пока не назначен был директором корпуса Римский-Корсаков и не произвел чистки. Да и многих держали подобных же наставников, место которых было где угодно, но только не около живых маленьких людей.

В гардемаринской роте, где были большей частью юноши и молодые люди, уже брившие усы, отношения между дежурными офицерами и гардемаринами являлись, так сказать, в виде вооруженного нейтралитета. Обе стороны соблюдали свое достоинство и не особенно придирались друг к другу. Офицеры делали вид, что не замечают курящих гардемарин, снисходительно относились к опаздываниям из отпуска и даже иногда к чересчур веселому виду возвратившегося гардемарина, а гардемарины, с своей стороны, не устраивали офицерам скандалов и делали их жизнь на дежурствах более или менее спокойною.

В восемь часов ужинали (суп и макароны или какая-нибудь каша) и в десять часов ложились спать. Это время после ужина и до отхода ко сну было самым любимым временем для разговоров и интимных бесед будущих моряков.

Нельзя сказать, чтоб эти беседы отличались отвлеченным характером и имели в виду решение каких-нибудь общих вопросов, волновавших в то время общество. Как я уже упоминал, развитие кадет того времени было довольно слабое, чтение было не в особенном фаворе, да и домашняя среда, в которой вращались кадеты по праздникам, едва ли могла дать богатый материал для этого. Среда эта, по большей части, были моряки николаевского времени, суровые деспоты, смотревшие на свои квартиры, как на корабли, а на домочадцев, как на подчиненных, обязанных трепетать. И, разумеется, все эти реформы, вводимые тогда в морском ведомстве, все эти слухи об уничтожении телесных наказаний не могли вызывать сочувствия у старых моряков, привыкших к линьку и розге. Очень малочисленный кружок, который читал и интересовался кое-чем, не пользовался никаким авторитетом, а на двух из нас, писавших стихи, смотрели с снисходительным сожалением, как на людей, занимающихся совсем пустым делом. И только стихотворения, обличавшие начальство, имели еще некоторый успех.

Но тем не менее разговоры и споры, которые велись, имели, в большинстве случаев, предметом: молодечество, удадь, самоотвержение. Многие закаливали себя: ходили по ночам на Голодай и на Смоленское поле. В разговорах молодых людей того времени не слышно было той доминирующей нотки, которая слышится у теперешних морских юнцов. Правда, спорили и очень часто спорили о том, следует ли повесить двух-трех матросов, если взбунтуется команда, или следует их просто-напросто отодрать, как Сидоровых коз; спорили: прилично ли настоящему моряку влюбиться, или нет, рассуждали об открытии Северного полюса, но никто не говорил о карьере, о выгодных местах, никто не смотрел на плавание, как на возможность получить лишнюю копейку, и никто не смел даже и заикнуться о достижении успехов по протекции. Многие, конечно, все это потом и проделывали, но тогда, на заре своей жизни, все-таки имели возвышенные идеалы, хотя и ограниченные в тесной служебной рамке...

И хотя бы за это одно можно помянуть добром дух прежнего морского корпуса.

Пока в роте, сидя на своих кроватях, гардемарины лясничали, несколько смельчаков были в

"бегах" из корпуса.

Побеги эти обыкновенно совершались во время ужина. Оставшись в роте, доставали пальто, на пуговицы надевали чехольчики, на белые погоны нашивали черный коленкор, или просто их выворачивали, на голову нахлобучивали припасенную штатскую шапку и, давши дневному двугривенный, айда из дверей и, разумеется, не на главный подъезд, а во двор, а там по дворам в одни из многочисленных ворот на улицу и - на свободе...

Я сам два или три раза "бегал" таким образом из корпуса к знакомым студентам и, признаюсь, всегда испытывал какое-то радостное и вместе с тем жуткое чувство, когда, пробираясь к воротам, на каждом шагу рисковал опасностью неожиданной встречи с кем-нибудь из корпусного начальства. То же чувство не оставляло, пока, бывало, не минуешь морского корпуса и не очутишься наконец на Николаевском мосту. Однажды, уже успокоившись, я встретился лицом к лицу с директором корпуса. Он, казалось мне, пристально взглянул на меня, но прошел мимо, далекий, вероятно, от мысли, что мог встретить переодетого кадета.

Возвращение было относительно безопаснее. Осторожность требовала возвращаться поздно, часу в первом и, пробравшись в роту, спрятать чехольчики и шапку и идти спать...

Эти "побеги" так и прошли незамеченными, да хранит бог бдительность начальства морского корпуса! А сколько они доставили наслаждения!

XI

Экзамены окончены. Мы - старшие гардемарины и через год покинем корпус, а пока собираемся в летнее плавание на одном из кораблей. Я в числе других товарищей попал в этом году на 84-х-пушечный корабль "Орел", которым командовал заслуженный севастопольский герой и хороший моряк Ф.В.Керн.

Эти недолгие плавания должны были приучать будущих моряков к морской жизни, и каждое лето кадеты расписывались по судам флота после того, как прежняя кадетская эскадра была упразднена.

В плавание назначались только три старшие класса, примерно сто восемьдесят человек, считая по тридцати воспитанников в каждом из двух отделений класса. Остальные воспитанники, не разъехавшиеся по домам, переезжали на лето в "Баракы", дачу морского корпуса, верстах в шести-семи от Ораниенбаума, по Нарвской дороге.

Таким образом, кадеты до младшего гардемаринского класса, случалось, и не видали ни моря, ни военного корабля и знакомились с вооружением судна и с парусами по бригу, стоявшему в громадной зале морского корпуса. Парусные учения на этом бриге, производившиеся под наблюдением корпусных офицеров, моряков лишь по мундиру, были, разумеется, одной забавой, не имеющей ничего общего с учением в море. В течение шестилетнего или семилетнего пребывания в корпусе будущие моряки находились в плавании - да и то в Финском заливе всего месяцев шесть-семь - время, конечно, весьма недостаточное для подготовки мальчика к тяжелому морскому ремеслу, требующему и особого призвания, и известной закалки, и наконец физической выносливости. При такой системе берегового воспитания моряков, да еще педагогами, никогда не плававшими, неудивительно, что, по выходе из корпуса, многие тотчас же бросали службу, как только познакомились с ее тяжелыми условиями, совершенно напрасно потратив время на приготовление себя в моряки, и все вообще выходили из корпуса очень мало подготовленные к морскому делу. Молодые офицеры, обязанные, по своему положению, учить матросов, сами должны были учиться азбуке морского дела в плавании.

Тогда еще были моряки, воспитанные в школе Лазарева, Нахимова и Корнилова, и молодым офицерам была возможность действительно научиться морскому делу, особенно если они

попадали в дальнейшее плавание к хорошему капитану или в эскадру адмирала, заботившегося о действительной морской выучке и о развитии тех качеств, без которых немислим дельный моряк: находчивости, хладнокровия в опасности и умения внушить к себе доверие подчиненных.

Таким морским учителем в то время был хорошо известный во флоте, теперь уже маститый адмирал, а тогда еще молодой контр-адмирал Андрей Александрович Попов, бывший черноморец и севастопольский герой, командовавший несколько раз маленькими эскадрами кругосветного плавания, с которыми он ходил по океанам, показывая русский военный флаг в разных уголках земного шара.

Морская молодежь шестидесятых годов (да и капитаны того времени), конечно, хорошо помнят этого "разносителя", грозу офицеров, вспыльчивого до бешенства и в то же время необыкновенно доброго человека, любимого матросами, деятельного, энергичного и страстно преданного своему делу моряка, который, бывало, в океане переводил с судна на судно офицеров, или входил под парусами на рейд по ночам, сам стоя на баке. С шестидесятых годов это был едва ли не единственный выдающийся адмирал, который действительно образовывал моряков и создал школу. По крайней мере, по словам заслуживающих доверия почтенных моряков, лучшие командиры судов в настоящее время почти все - ученики А.А.Попова, плававшие с ним юными офицерами.

Здесь не место подробно говорить об этом крайне своеобразном и интересном типе, каким был А.А.Попов и о котором среди моряков и до сих пор ходит немало рассказов. Эта оригинальная личность, сделавшая для образования моряков более чем кто-либо из адмиралов, заслуживает более обстоятельного и подробного описания. Замечу только, что молодые гардемарины и мичмана, плававшие с А.А.Поповым, обязаны не только тем, что стали хорошими моряками, но и тем, что, благодаря ему, многие пополнили крайне скудное образование, полученное в морском корпусе, изучили иностранные языки и вообще приучились к занятиям.

А.А.Попов, бывало, по вечерам требовал к себе всех гардемарин в адмиральскую каюту, читал им лучшие произведения русской литературы и после беседовал о прочитанном, а то даст что-нибудь переводить или вручит какую-нибудь иностранную книгу и попросит рассказать потом содержание волей-неволей приходилось заниматься. А когда судно приходило в порт, адмирал вместе с молодежью съезжал на берег и ходил, осматривая все достопримечательное, ходил по докам, по заводам, осматривал суда, укрепления, предпринимал экскурсии и требовал затем подробного письменного описания. Таким образом, благодаря адмиралу, молодые моряки действительно знакомились с посещенными городами, а не с одними только ресторанами и увеселительными заведениями.

И бранили же тогда его, и как бранили! Но зато с какою сердечной благодарностью вспоминали потом те же моряки своего назойливого и подчас бешеного морского учителя, этого "неугомонного адмирала", так заботившегося о своих младших товарищах.

Пора, однако, возвратиться к прерванному рассказу.

После недельного отпуска перед плаванием, два казенные портовые парохода доставили всех нас, назначенных в кампанию, в первых числах июня, из Петербурга на большой Кронштадтский рейд и развезли по кораблям стоявшей на рейде практической эскадры под вице-адмиральским флагом на флагманском корабле.

Наше отделение старшего гардемаринского класса, в числе двадцати шести человек, было высажено на восьмидесятичетырехпушечный паровой корабль "Орел", поражавший, как и все суда, своим безукоризненно вытянутым такелажем, выправленными на диво реями и тою умопомрачительной чистотой, какою вообще отличаются военные суда.



Корпусный офицер, бывший при нас в качестве воспитателя, совсем безличный и ограниченный человек, показывавшийся ежедневно в нашем помещении только для проформы и все плавание проскучавший в качестве "пассажира" на корабле, поставил нас на шканцах во фронт и представил старшему офицеру, высокому капитан-лейтенанту, видимо оторванному от какого-то дела.

Наше прибытие не доставило, кажется, старшему офицеру большого удовольствия, и этот чем-то озабоченный моряк с маленькими, щурившимися глазами не особенно радушно принял своих новых подчиненных, прибавлявших ему, и без того по горло занятому, лишнюю заботу. Он однако был "рад познакомиться", объявил, что завтра распишет нас по вахтам, внушительно попросил нас "не загадить констапельской" (нашего помещения) и исчез, объявив, что сейчас выйдет капитан.

Через минуту из капитанской каюты вышел, направляясь к нам неторопливой, мерной походкой, низенький, сутуловатый и кряжистый пожилой человек с Георгием 3-й степени за храбрость на своей короткой шее, с красным загорелым лицом, обрамленным густыми подстриженными бакенбардами. Опущенная его голова совсем уходила в плечи.

Это был капитан 1 ранга Ф.С.Керн, известный своей храбростью севастопольский герой, описанный Толстым в его севастопольских рассказах.

Он глядел исподлобья и на вид казался сердитым этот наш капитан, оказавшийся потом очень добрым и мягким человеком, несмотря на свою суровую внешность медведя. Говорил он, словно лаялся, отрывисто, лаконическими фразами. Короткое приветствие, обращенное к нам, закончило представление, и мы спустились в свое помещение - в "констапельскую", довольно обширную каюту в нижней жилой палубе, под кают-компанией.

На следующий день мы снялись с якоря.

## XII

Наша "служба" на корабле была очень легкая. Расписанные по вахтам, мы исполняли при вахтенных офицерах роль посыльных к капитану и передатчиков приказаний, стояли у компаса, следя за правильностью курса, ездили при шлюпках, но большую часть времени проводили в бездельничестве в своей констапельской. Состоявший при нас корпусный офицер был сам совсем невежественный человек, чтобы занять нас какими-нибудь полезными для будущего офицера занятиями, и таким образом, пребывание на корабле имело только ту хорошую сторону, что мы могли "присматриваться" к строгому порядку судовой жизни и к управлению кораблем. При съездах на берег мы вместе с офицерами посещали рестораны и, случалось, вместе с ними и кутили. А на нашем корабле офицеры были большие любители выпить. Особенно первый лейтенант Д\* и начальник 2-й вахты, князь М., оба лихие парусные моряки, были такие завзятые пьяницы, что редко их можно было видеть трезвыми. И на вахту они выходили, зарядившись, что не мешало однако им быть исправными вахтенными начальниками. На берегу они гуляли вовсю, и ряд скандалов ознаменовал их пребывание во всех портах, начиная от Ревеля и кончая Балтийским портом. Возвращались оба эти приятеля с берега иногда в таком виде, что их должны были под руки поднимать по трапу на палубу и вести в каюты, что, с точки зрения морской дисциплины, представляло явный соблазн. Капитан, суровый моряк черноморской школы, конечно, знал это и косо поглядывал на этих офицеров, но он был слишком добрый человек, чтобы, как выражаются на морском жаргоне, "протестовать их", т.е. списать с корабля и сообщить по начальству о причинах, и они, таким образом, проплавали все лето в непрерывно пьяном состоянии. Впрочем, репутация этих двух старых лейтенантов, типичных представителей кронштадтских забубенных головушек дореформенного времени, тех пьяниц-моряков, о которых слагались целые легенды и которые давали вообще всем морякам славу пьяниц, - репутация их и без того была слишком хорошо известна всем, и оба они, вскоре после

плавания, были уволены в резерв, а затем и в отставку. В те времена "очищали" флот.

Приходилось нам, юнцам, "присматриваться" и к обращению с матросами и видеть вопиющую жестокость по отношению к людям. Сам капитан не прибегал к кулачной расправе и, сколько помнится, ни разу не приказывал наказывать матросов линьками, а только ругался в минуты гнева или служебного возбуждения. Но старший офицер положительно был жесток, и притом жесток с какою-то холодной, бесстрастной выдержкой. Ни одного "аврала" или учения не проходило без того, чтобы не было окровавленных им лиц; нередко случалось слышать раздирающие стоны, раздающиеся с бака, где происходили экзекуции. Нам, гонцам, невольно приходилось быть свидетелями этих отвратительных сцен, потому что старший офицер, вероятно, для нашей "морской закалки", приказывал иногда кому-нибудь из нас присутствовать при наказании. Я никогда не забуду этой обнаженной человеческой спины, покрытой красными подтеками от линьков, этих коротких, отрывистых стонов и вскрикиваний, этих озверелых боцманов, наносящих размеренные удары, и этого улыбающегося лица старшего офицера, присутствовавшего при наказании.

Когда матрос, наказанный за самую пустую вину, получив пятьдесят ударов линьков (линек - толстая веревка с узлом на конце), осторожно надевал рубаху на свою посиневшую спину, старший офицер взглянул на меня и, удивленный, вероятно, моим взволнованным видом, проговорил с насмешкой:

- Что, молодой человек, взволновались? Вы не баба-с. Надо приучаться к службе!

По счастью, если бы и была охота "приучаться к службе", столь своеобразно отождествляемой с жестокостью, нашему поколению приучаться не приходилось. Русский флот был накануне отмены телесных наказаний, и "жестокость" начинала выходить из моды.

Нечего и прибавлять, что у нас на корабле дрались почти все офицеры, дрались, конечно, боцмана и унтер-офицеры; а самая невозможная и отборная ругань, свидетельствующая о виртуозной изобретательности моряков по этой части, стоном стояла во время учений и авралов.

Вся эта отрицательная сторона морской службы тогдашнего времени на некоторых из нас, уже несколько охваченных просветительным веянием шестидесятых годов, действовала удручающим образом. Двое товарищей решительно собирались, по окончании курса, выйти в отставку. Большинство, впрочем, "закаливало" свои нервы...

Само собою разумеется, что все мы восхищались капитаном, который в наших глазах являлся идеалом лихого и бесстрашного моряка. Нам, молодым морякам, и весело, и жутко было глядеть, как однажды "Орел" под всеми парусами влетел в узкие ворота ревельской купеческой гавани, управляемый зорким глазом старого "парусника" капитана. И сам он, сдержанный, молчаливый, изредка отдающий резкие повелительные приказания, и вся его крепкая фигура морского волка - все это, разумеется, пленяло и вызывало на подражание, так что многие стали ходить сгорбившись, как и капитан, и говорить так же отрывисто и резко.

Но особенные восторги возбудил он в нас после весьма критического случая, бывшего с нами в это плавание и, конечно, памятного всем, пережившим несколько ужасных минут, незабываемых во всю остальную жизнь. Пример хладнокровного бесстрашия и мужества нашего капитана в эти минуты был одним из ценных морских уроков для будущих моряков.

Как теперь помню, мы шли под всеми парусами с ровным ветром, проходя мрачный и вечно туманный остров Гогланд, около которого, в 1857 году, так трагически, в две-три минуты, пошел ко дну во время поворота, на глазах всей эскадры, корабль "Лефорт" с восьмьюстами людьми экипажа и тремястами уволенных матросов с их женами и детьми, которых перевозили из Ревеля в Кронштадт. Предполагали тогда, что корабль погиб вследствие неправильной нагрузки, имея слишком высоко центр тяжести, или что, быть может, худо

закрепленные орудия перекатились во время поворота на подветренную сторону на накренившийся борт. Как бы то ни было, но ни одна живая душа не могла ничего объяснить - ни один человек не спасся. Катастрофа случилась в пятом часу утра.

Память об этом трагическом событии еще была жива среди моряков, и, проходя Гогланд, мы все жадно слушали в констапельской рассказ одного старика-матроса, бывшего сигнальщиком на одном из кораблей эскадры и видевшего гибель злосчастного "Лефорта".

Только что кончил рассказ свой старик-матрос, как все мы почувствовали, что вдруг наш "Орел" положило совсем набок, и услышали зычный голос боцмана, призывавшего всех наверх.

Охваченные паникой, мы бросилась наверх.

Наверху ревел набежавший шквал, и наш "Орел" с убранными парусами стремительно летел, поваленный шквалом, кренясь все более и более. На юте, где я должен был находиться по расписанию, стоял капитан, серьезный и молчаливый. Ют представлял собою совершенно наклонную плоскость... Корабль все больше и больше ложился набок. Невольно в голове пронеслась мысль о "Лефорте". Команда в каком-то боязливом смятении столпилась на палубе, многие крестились. Выбежавшие офицеры были бледны, как смерть. Раздалась команда старшего офицера - закрепить трепыхавшиеся паруса, но матросы не двигались с места.

Корабль кренило больше и больше.

Капитан стоял по-прежнему бесстрашный и тихо отдал приказание старшему офицеру готовить топоры, чтобы рубить мачты. Старший офицер бросился вниз. Прошло еще несколько томительных секунд...

- Готово! - крикнул старший офицер, показываясь в люке.

- Есть! - спокойно отвечал капитан.

И ни черточки страха, ни одной дрогнувшей нотки в его голосе!..

Шквал пронесся далее. "Орел" стал медленно, словно с усилием, подниматься, и наконец поднялся. Радостное чувство озарило все лица. И необыкновенно серьезное и напряженное лицо капитана прояснилось.

Снова поставили паруса, и капитан спустился к себе в каюту с таким, по-видимому, спокойным видом, точно ничего особенного не случилось. Только теперь, казалось мне, он как-то нервнее подергивал, по своему обыкновению, плечами. Мы, молодежь, впервые испытавшие страшные минуты в море, глядели на капитана с восторженным удивлением, и долго еще в констапельской он был предметом нескончаемых разговоров.

Тогда рассказывали, что этот критический случай произошел от недостаточности балласта, бывшего на корабле, и обвиняли портовое начальство. Как бы то ни было, но по приходе в Ревель мы прибавили балласту.

Вспоминается мне еще один эпизод, рисующий этого почтенного моряка.

Это было на Кронштадтском рейде. Часу в пятом после обеда старший офицер послал одного из товарищей с четверкой (небольшая шлюпка с четырьмя гребцами) - отвезти больного матроса на берег и сдать в госпиталь. Ветер был противный, и шлюпка отправилась под веслами.

К вечеру ветер стал свежеть, разводя большое волнение. Шлюпка не возвращалась. Капитан

то и дело выходил наверх и спрашивал: "не видать ли четверки?" Получая ответ, что не видать, он беспокойно двигал плечами, сердито кричал и, приказав сигнальщику не сводить глаз с рейда, нервно ходил по палубе, заложив руки за спину. Беспокойство его видимо росло с каждой минутой, с каждым усиливающимся порывом ветра. Он сделал выговор старшему офицеру, что тот послал маленькую шлюпку на берег вместо того, чтобы послать катер.

- Теперь, видите-с... свежо... Им не выгрести... Они, разумеется, пойдут под парусами...

Старший офицер старался успокоить капитана предположением, что посланный со шлюпкой гардемарин Ф. не решится возвращаться при таком ветре на корабль и благоразумно переночует у пристани.

- Вы думаете-с? А я так думаю-с, что Ф. именно и пойдет-с и, конечно, поставит паруса... Молодость отважна-с...

И капитан сам взял бинокль и стал глядеть в заволакивавшийся мглой горизонт.

Начинало темнеть. Ветер усиливался. Шлюпка не показывалась.

Капитан не сходил с юта. Он то хватался за бинокль, то беспокойно ходил взад и вперед, словно зверь в клетке, то снова останавливался и вглядывался в подернутое белыми зайчиками волнующееся море.

- Четверка наверное осталась на берегу, - снова заметил старший офицер, сам видимо обеспокоенный.

- Не думаю-с! - резко ответил капитан.

И как бы в подтверждение его психологического понимания, сигнальщик весело крикнул:

- Четверка идет!

Капитан стремительно спустился с юта и бросился к трапу.

В полумраке, едва освещаемом слабым светом луны, совсем близко летела к кораблю, накренившись и ныряя в волнах, маленькая четверка под парусами.

- Видите-с! - радостно промолвил капитан, обращаясь к старшему офицеру.

И его, обыкновенно суровое лицо, освещенное светом фонарей, которые держали выбежавшие фалгребные, озарилось хорошей, светлой улыбкой.

Через минуты две-три шлюпка, наполовину залитая водой, пристала к борту. Гардемарин Ф., юноша лет шестнадцати, поднялся на палубу весь мокрый. Возбужденный, с покрасневшим от волнения лицом, он доложил старшему офицеру, что больной матрос сдан в госпиталь, и вручил квитанцию.

- А зачем вы не остались на берегу? Разве вы не видели, что свежий ветер, а? - строго спросил капитан.

- Я полагал, что он не настолько свеж, чтобы не идти, - ответил Ф.

- То-то полагали-с... А он свеж... Надеюсь, рифы были взяты?..

- На ходу взял-с.

- Ну, ступайте-с, переоденьтесь... Ишь мокрый совсем... Да потом ко мне милости просим чай пить-с. А вы молодец-с! И я на вашем месте тоже пошел бы... да-с! - неожиданно прибавил

капитан и крепко пожал руку молодому человеку.

И, уходя в каюту, приказал гребцам дать по чарке водки.

После двухмесячной кампании, во время которой мы побывали в Ревеле, Гельсингфорсе и Балтийском порте и хорошо познакомились там с кюмелем, шведским пуншем и финляндской "сексой", мы с эскадрой вернулись в Кронштадт, хотя и присмотревшиеся к морскому делу, но все-таки очень мало в нем понимавшие и даже ни разу за все время не бравшие в руки секстана. И так было на всех кораблях. Корпусные офицеры, посылавшиеся с кадетами, и сами не умели обращаться с секстаном, так уж куда показывать другим. Да и вообще эти господа в большинстве были люди далеко несведущие, и посылка их с кадетами имела характер лишь полицейского надзора.

Через день или два по приходе в Кронштадт, за нами пришел из Петербурга пароход, и мы распростились с "Орлом", чтобы больше никогда его не видеть. И он, и другие деревянные корабли через два-три года мирно стояли в гавани и вскоре, когда на смену им явились броненосцы, были проданы на слом.

Не пришлось более видеть и той варварской дрессировки матросов с порками, какую мы видели на "Орле". Доброму "старому времени" со всеми его ужасами пели отходную. Во флоте, как и везде, повеяло новым духом. И флот "не пропал", как предвещали тогда многие старики-моряки, втайне недовольные реформами, вводимыми великим князем Константином Николаевичем, и в особенности - отменой телесных наказаний. Оказалось, что могла существовать и дисциплина, могли быть и хорошие матросы и без варварств прежнего времени.

### XIII

К 15-му августа мы все собрались в классы, и снова пошла обычная корпусная жизнь, для нас, впрочем, выпускных несколько более свободная.

В начале сентября начали готовиться к традиционному празднованию старшим курсом дня равноденствия. По обыкновению, сборы к этому празднованию держались в секрете от начальства, хотя начальство, разумеется, хорошо знало, что и в этом году, как и ранее, во все предыдущие года, этот традиционный обычай повторится и что помеха ему может только вызвать еще больший скандал. С каждого человека собирали по два, по три рубля для шитья костюмов в предстоящей процессии. Вопрос о костюмах вызывал горячие дебаты.

Но в нашем курсе явились и протестанты против этого обычая, находившие, что тратить деньги на такое шутовство нелепо. Таких протестантов набралось нас пять человек. Мы выпустили "прокламацию", в которой убеждали остальных товарищей не устраивать шутовского маскарада и деньги, предназначенные для этой цели, употребить на выпуск нескольких журналов и газет.

Несмотря на горячий тон и, казалось нам, неопровержимую убедительность "прокламации", она не имела никакого успеха и дала нам лишь одного нового приверженца. Огромное большинство крепко стояло за сохранение "обычая" и к предложению выписать журналы отнеслось без малейшего сочувствия. Всех нас, протестантов, не без ядовитой иронии называли "литераторами". Мы, в свою очередь, называли представителей большинства "шутами гороховыми".

Несколько вечеров подряд происходили совещания для выработки программы распределения ролей и для решения существенного вопроса: кого из начальствующих лиц следует на предстоящем празднестве предать анафеме и кому провозгласить многие лета. Совещания эти были очень оживлены, и вопрос об анафемаствовании, надо признаться, не возбуждал больших разногласий. Решено было предать проклятию почти все корпусное

начальство, за весьма немногими исключениями. Но так как предание проклятию столь значительного числа педагогов и учителей, каждого в отдельности, заняло бы слишком много времени и могло вызвать нежелательное вмешательство начальства, то постановлено было: провозгласить анафему лишь более выдающимся лицам, а остальных проклясть в общем перечислении фамилий.

Накануне дня равноденствия все костюмы были доставлены в корпус и припрятаны в надежных местах распорядителями. Ночью происходила примерка костюмов и кое-какие поправки. Все это делалось в величайшем секрете.

Следующий день прошел как обыкновенно. Казалось, ничто не предвещало традиционного праздника, и корпусное начальство, боящееся этого дня, казалось не особенно возбужденным. Однако ротный командир несколько раз в этот день показывался в роте, видимо желая узнать настроение. Но "настроение" было, по-видимому, самое спокойное.

Наконец вернулись от ужина, и тотчас же в роту стали собираться все однокурсники, бывшие унтер-офицерами в других ротах... Дежурный офицер благоразумно исчез, чтобы ничего не видеть и не знать, так как хорошо понимал, что всякая его попытка помешать манифестации вызвала бы крупный скандал. Такие скандалы, при бестактности начальства, бывали и оканчивались не особенно приятно для обеих сторон. Не показывались в этот вечер ни ротный командир, ни дежурный по корпусу, ни директор. Узнавши, что праздник будет, они сидели по своим квартирам и ждали, чтобы манифестация прошла только скорей и спокойнее, не осложнившись какими-нибудь серьезными беспорядками.

Тем временем участвовавшие в процессии - весь старший курс, за исключением шести протестантов, - торопливо одевались в спальней в свои костюмы, приклеивали бороды, красили лица и т.п.

В соседних залах роты уже нетерпеливо ждут процессии зрители: кадеты среднего и младшего гардемаринских классов и прибежавшие тайком воспитанники других рот. Дневальные, в ожидании хорошей подачи, зорко сторожат за дверями, готовые предупредить, лишь только завидят начальство.

Все готово. Процессия в стройном порядке, при торжественном пении гимна равноденствию, двинулась из спальни.

Среди двигавшихся тихим шагом различных морских божеств мифологии, среди тритонов, nereид, русалок, наяд, - одетых или, вернее, полуодетых в более или менее подходящие костюмы подводного царства, блестящих фольгой и бусами, с венками на головах и с зажженными свечами, - среди разных морских чудовищ рыб и черепах, - высоко над головами остальных восседал на троне, несомый шестью полуголыми подводными придворными, Нептун с длинной седой бородой и в большой блестящей короне. Костюм его ограничивался поясом из зеленой изрезанной бумаги, заменявшей морскую траву. В одной руке у него был трезубец, а в другой - учебник астрономии Зеленого. Вид у Нептуна был торжественно-серьезный.

"Астрономия" была в золотом переплете. Эта в некотором роде "священная книга", с которой много поколений праздновали равноденствия, хранилась всегда в старшем выпуске.

В 1861 г. старшие гардемарины, под влиянием новых веяний, книгу эту сожгли, и с тех пор, кажется, в морском корпусе не празднуется более равноденствие.

Процессия обошла обе залы и направилась, сопровождаемая зрителями, в спальню среднего гардемаринского курса. Там она остановилась. Пение прекратилось.

Тогда, среди мертвой тишины, был прочитан из учебника астрономии параграф,

определяющий равноденствие и начинающийся, если мне не изменяет память, словами: "Когда солнце годовым своим движением приходит в одну из точек В или С" и т.д.

По окончании чтения этого параграфа, Нептун спустился с трона. Выйдя вперед, на середину спальни, между раздвинутыми кроватями, он проговорил:

- Слушайте, братия!

И затем торжественно-мрачным голосом, стараясь брать своим басом низкие ноты, провозгласил:

- Директору морского корпуса, что в городе Санкт-Петербурге на Васильевском острове, контр-адмиралу "Сережке" такому-то анафема!

- Анафема! - загремели в ответ десятки голосов, подхваченные и зрителями.

Нептун стукнул трезубцем об пол и продолжал:

- Инспектору классов того же корпуса, капитану 1-го ранга такому-то... анафема!

- Анафема! - снова повторили все.

- Дивен в подлостях своих. Он свинья! Он подлец!

И все пропели церковным напевом это прибавление к проклятию особенно нелюбимого инспектора.

- Батальонному командиру, капитану 1-го ранга, "Павлушке" такому-то, по прозвищу "Копчик", - анафема!

- Анафема!

Нептун по очереди продолжал провозглашать имена эконома, нескольких ротных командиров, дежурных офицеров и двух особенно нелюбимых преподавателей, и после каждого провозглашения раздавалось протяжное и мрачное: "анафема".

Остальные затем были перечислены вместе и преданы были проклятию en masse.\*

---

\* Здесь: все вместе (франц.).

После паузы Нептун провозгласил уже в мажорном тоне:

- Мудрому и славному нашему дежурному офицеру и преподавателю, преславнейшему и преблагороднейшему Илье Павловичу Алымову многая лета!

- Многая лета! - весело загремели голоса.

Провозглашение многолетия заняло, впрочем, весьма немного времени, так как удостоившихся этой чести лиц было мало - всего, сколько помнится, три или четыре человека.

Затем Нептун снова взобрался на трон, и процессия тем же порядком, с пением, возвратилась в спальню. Участвовавшие быстро переоделись, и после недолгих бесед все улеглись спать. Все было окончено.

Явился и дежурный офицер и мирно зашагал по своей дежурной комнате.

Оставить однако совсем без внимания бывшую манифестацию начальство морского корпуса считало ниже своего достоинства, и потому на другой день, после классов, нашу роту выстроили во фронт, объявив, что идет директор корпуса. Семеня ножками и стараясь казаться сердитым, к нам подошел, сопровождаемый батальонным командиром, инспектором и ротным, директор, довольно неказистый на вид старик, добродушный, незлобивый и очень простенький человек, которого вчера предавали анафеме, надо думать, более для соблюдения традиционного обычая, чем по заслугам. Никакого проклятия он не заслуживал, и все очень хорошо знали, что почтенный старик никого не обижал, никого не преследовал и управлял корпусом номинально, находясь под влиянием инспектора классов. Кроме того, ходили слухи, что он на время лишь назначен директором, и его, по правде говоря, не ставили ни в грош и совсем не боялись.

Выпучив свои глаза, директор поздоровался с нами и, краснея более от неумения говорить, чем от негодования, несколько секунд стоял в безмолвии, видимо затрудняясь, с чего начать, и беспомощно озираясь на почтительно стоявшего сзади "дипломата" - инспектора классов.

- Э... э... э... это как же?... - начал наконец директор, сознавая, что надо же что-нибудь сказать.  
- Вчера... э... э... э... шум, беспорядок... Это срам-с... И я не потерплю, понимаете, не потерплю-с... Меня трудно рассердить, но если я рассержусь... выгоню из корпуса... Да-с... Выгоню... Выгоню-с!

Добряк клепал на себя безбожным образом. Он и теперь не сердился, а исполнял свою "роль", вероятно, подсказанную инспектором.

- И кто это выдумал вчера эти беспорядки-с?... Кто зачинщики-с?... Выходите вперед... Никто, разумеется, не выходил.

- Значит, все-с? Ну, я со всех и взыщу-с... Со всех... и строго взыщу-с... Непременно взыщу-с... э-э-э... Будете помнить-с...

Вероятно, дело ограничилось бы этим обещанием, и добряк ушел бы, убежденный, что напугал всех нас, как взгляд его случайно упал на маленького Г., который, слушая несвязную речь директора, лукаво улыбался своими смеющимися глазами.

Это уж было слишком!

- Э-э-э... вы еще смеяться... Директор говорит, а он смеется... Вы, значит, зачинщик и есть... Под арест его! - вдруг крикнул визгливым тенорком почтенный старик, внезапно закипая при виде этого насмешливого взгляда. - На неделю... На хлеб... на воду! Он всегда во всем коновод... Я знаю... Я все знаю-с...

Директор, конечно, и не догадывался, что он сажал под арест "протестанта", не принимавшего участия во вчерашней прецессии и не бывшего никогда коноводом, и, еще раз пригрозив, что он строго взыщет, ушел, сопровождаемый свитой.

Г. со смехом собирался идти в "главную арестантскую" (главный карцер) и только просил, чтоб товарищи не забыли ему приносить съестного. Товарищи предлагали идти к директору и сказать, что он не принимал никакого участия в праздновании равноденствия, но Г. не согласился. "Не все ли равно? Ведь он не за участие меня посадил, а за улыбку!" - говорил, продолжая смеяться, маленький Г. Он, впрочем, просидел всего два дня. После двух дней директор позвал его к себе и самым добродушным образом простил, проговорив на прощанье:

- А вы, молодой человек, вперед помните-с... э-э-э... что, когда говорит начальник, надо слушать, а не смеяться... А то что будет-с, если все будут смеяться над начальниками?... Как вы думаете-с?



И так как Г. затруднялся отвечать, то добряк и поспешил объяснить ему:

- Будет-с всеобщий кавардак... Вот что будет-с!

- Дешево отделались, почтенный, - ядовито заметил инспектор классов, обращаясь на другой день к Г. в классе. - Начальство надо почитать, а не улыбаться, когда оно говорит. Вот тоже и этот почтенный, - указал инспектор классов на меня, - стишки пописывает про начальство и думает, что это очень либерально... Как бы за это серьезно не поплатиться... Как вы полагаете, почтенный? - обратился ко мне инспектор классов, прочитавший переписанное товарищем стихотворение, в котором героем был он. - Ведь это вы занимаетесь стихоплетством? - презрительно добавил он.

- Занимаюсь по временам, - отвечал я.

- Я так и думал... Смотрите, почтенный, как бы, вместо выпуска из корпуса, не остаться еще на год... Держите ухо востро... Начальство терпеливо и попечительно, но и оно иногда теряет терпение... и особенно не любит строптивых... Видно, журналов нынешних начитались... разные глупости нравятся?..

Несмотря на предостережение инспектора, мне не пришлось "держатъ ухо востро". Через месяц совершенно неожиданно я оставил корпус. По просьбе отца я был назначен в трехлетнее кругосветное плавание и в начале октября, простившись с товарищами, уехал в Кронштадт, чтобы явиться на корвет.

Экзамен мне пришлось держать в Печелийском заливе, на эскадре, перед экзаменной комиссией моряков, а не перед сонмом корпусных педагогов.